

Лидия  
ЧАРСКАЯ

*Повести  
и рассказы*



# **Лидия Алексеевна Чарская Княжна Джаваха**

## **Часть первая НА КАВКАЗЕ**

### **Глава I**

#### **Первые воспоминания. Хаджи-Магомет. Черная роза**

Я грузинка. Мое имя Нина – княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата – славный род; он известен всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и Дагестанских гор.

Я родилась в Гори, чудном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной реки Куры.

Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми

каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одуряющим запахом красных и белых цветов. А кругом Гори – развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, отдающую чудесным и таинственным преданием старины...

Вдали синеют очертания гор, белеют перловым туманом могучие, недоступные вершины Кавказа – Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока – гигантские серые орлы...

Мои предки – герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.

Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых. Там шла беспрерывная война с полудикими горцами, делавшими постоянные набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор.

Тихие, зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами...

Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз рассылавший сотни и тысячи своих джигитов в христианские селения... Сколько горя, слез и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии...

Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, скрылись

враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно...

Между русскими вождями, смело выступившими на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья – смелые и храбрые, как горные орлы...

Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей за собою столько храбрых, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди...

Я жалела в такие минуты, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горсти храбрецов по узким тропинкам Дагестана, повисшим над страшными стремнинами...

Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.

Мама моя была простая джигитка из аула Бестуди... В ауле этом поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молодой офицер, был послан с казачьей сотней усмирять его.

Восстание усмирили, но отец мой не скоро уехал из аула...

Там, в сакле старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку – красавицу Марию...

Черные очи и горные песни хорошенькой татарки

покорили отца, и он увез Марию в Грузию, где находился его полк.

Там она приняла христианскую веру, против желания разгневанного старика Магомета, и вышла замуж за русского офицера.

Старый татарин долго не мог простить этого поступка своей дочери...

Я начинаю помнить маму очень, очень рано. Когда я ложилась в кроватку, она присаживалась на край ее и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица «деда»!<sup>1</sup>

И голос у нее был нежный и бархатный, как будто нарочно созданный для таких печальных песен... Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими, грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась – казалось, улыбалось небо...

Я обожала ее улыбки, как обожала ее песни... Одну на них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из ущелий Дагестана... Порывом ветра пышную дикую розу снесло в зеленую долину... И роза загрустила и заххла вдали от своей милой родины... Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее при-

---

<sup>1</sup> Деда – мать по-грузински (*Здесь и далее примеч. автора*).

вет в горы...

Несложная песня с простыми словами и еще более простым мотивом, но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица-мать.

Часто, оборвав песню на полуслове, «деда» схватывала меня на руки и, прижимая тесно, тесно к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:

– Нина, джаным,<sup>2</sup> любишь ли ты меня?

О, как я любила, как я ее любила, мою ненаглядную деду!..

Когда я становилась рассудительнее, меня все больше и больше поражала печаль ее прекрасных глаз и тоскливых напевов.

Как-то раз, лежа в своей постельке с закрытыми от подступавшей дремоты глазками, я невольно услышала разговор мамы с отцом.

Она смотрела вдаль, на вьющуюся черной змееобразной лентой тропинку, убегающую в горы, и тоскливо шептала:

– Нет, сердце мое, не утешай меня, он не приедет!

– Успокойся, моя дорогая, он опоздал сегодня, но он будет у нас, непременно будет, – успокаивал ее отец.

– Нет, нет, Георгий, не утешай меня... Мулла его не

---

<sup>2</sup> Джаным – по-татарски душа, душенька – самая употребительная ласка на востоке.

пустит...

Я поняла, что мои родители говорили о деде Хаджи-Магомете, все еще не желавшем простить свою христианку-дочь.

Иногда дед приезжал к нам. Он появлялся всегда внезапно со стороны гор, худой и выносливый, на своем крепком, словно из бронзы вылитом, коне, проведя несколько суток в седле и нисколько не утомляясь длинной дорогой.

Лишь только высокая фигура всадника показывалась вдали, моя мать, оповещенная прислугой, сбегала с кровли, где мы проводили большую часть нашего времени (привычка, занесенная ею из родительского дома), и спешила встретить его за оградой сада, чтобы, по восточному обычаю, подержать ему стремя, пока он сходил с коня.

Наш денщик, старый грузин Михако, принимал лошадь деда, а старик Магомет, едва кивнув головой моей матери, брал меня на руки и нес в дом.

Меня дедушка Магомет любил исключительно. Я его тоже любила, и, несмотря на его суровый и строгий вид, я ничуть его не боялась...

Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь,

рылась в карманах его бешмета,<sup>3</sup> где всегда находились для меня разные вкусные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было – и засахаренный миндаль, и кишмиш, и несколько приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные хорошенькой Бэллой – младшей сестренкой моей матери.

– Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, – говорил он, приглаживая жесткой и худой рукой мои черные кудри.

И я не заставляла себя долго просить и наедалась до отвала этих легких и вкусных, словно таявших во рту лакомств.

Потом, покончив с ними и все еще не сходя с колен деда, я прислушивалась внимательным и жадным ухом к тому, что он говорит с моим отцом.

А говорил он много и долго... Говорил все об одном и том же: о том, как упрекает и стыдит его при каждой встрече старик-мулла за то, что он отдал свою дочь «урусу»,<sup>4</sup> что допустил ее отречься от веры Аллаха и спокойно пережил ее поступок.

Отец, слушая деда, крутил только свой длинный черный ус да хмурил свои тонкие брови.

– Слушай, кунак<sup>5</sup> Магомет, – вырвалось у него в од-

---

<sup>3</sup> Бешмет – род кафтана, обшитого галуном.

<sup>4</sup> Горцы называют русских и грузин, вообще христиан – урусами.

<sup>5</sup> Кунак – друг, приятель.



ну из таких бесед, – тебе нечего беспокоиться за твою дочь: она счастлива, ей хорошо здесь, наша вера стала ей родной и близкой. Да и поправить сделанного нельзя... Не беспокой же ты даром мою княгиню. Видит Бог, она не переставала быть тебе покорной дочерью. Передай это своему мулле, и пусть он поменьше заботится о нас, да поусерднее молится Аллаху.

Боже мой, как вспыхнуло от этих слов лицо деда!.. Он вскочил с тахты... Глаза его метали молнии... Он поднял загоревшийся взор на отца – взор, в котором сказала вся полудикая натура кавказского горца, и заговорил быстро и грозно, мешая русские, татарские и грузинские слова:

– Кунак Георгий... ты урус, ты христианин и не поймешь ни нашей веры, ни нашего Аллаха и его пророка... Ты взял жену из нашего аула, не спросясь желания ее отца... Аллах наказывает детей за непокорность родителям... Марием знала это и все же пренебрегла верою отцов и стала твоею женою... Мулла прав, не давая ей своего благословения... Аллах вещает его устами, и люди должны внимать воле Аллаха...

Он говорил еще долго, долго, не подозревая, что каждое его слово прочно западает в юную головку прижавшейся в уголок тахты маленькой девочки.

А моя бедная деда слушала сурового старика, дро-

жа всем телом и бросая на моего отца умоляющие взоры. Он не вынес этого немого укора, крепко обнял ее и, передернув плечами, вышел из дому. Через несколько минут я видела, как он скакал по тропинке в горы. Я смотрела на удаляющуюся фигуру отца, на стройный силуэт коня и всадника, и вдруг точно что-то толкнуло меня к Хаджи-Магомету.

– Деда! – неожиданно прозвучал среди наступившей тишины мой детский звонкий голос, – ты злой, деда, я не буду любить тебя, если ты не простишь маму и будешь обижать папу! Возьми назад твой кишмиш и твои лепешки; я не хочу их брать от тебя, если ты не будешь таким же добрым, как папа!

И, недолго думая, я быстро вывернула карманы, куда набрала привезенные дедом лакомства, и выбросила все их содержимое на колени изумленного старика.

Моя мать, прижавшись в угол комнаты, делала мне отчаянные знаки, но я не обращала на них внимания.

– На, на! и свой кишмиш бери, и лепешки бери, и армянские пряники... ничего, ничего не хочу от тебя, злой, недобрый деда! – твердила я, вся дрожа, как в лихорадке, продолжая выкидывать из карманов привезенные им лакомства.

– Кто учит ребенка непочтению к старости? – загремел на весь дом голос Хаджи-Магомета.

– Никто не учит меня, деда! – смело крикнула я. – Моя мама, хоть не молится на восток, как ты и Бэлла, на она любит вас, и аул твой она любит, и горы, и скучает без тебя и молится Богу, когда ты долго не едешь, и ждет тебя на кровле... Ах, деда, деда, ты и не знаешь, как она тебя любит!

Что-то необъяснимое при этих словах промелькнуло в лице старика. Орлиный взор его упал на маму. Вероятно, много муки и любви прочел он в глубине ее черных, кротких глаз, – только его собственные глаза заблестели ярко-ярко и словно задержались набежавшей в них влагой.

– Правда ли, джаным? – скорее прошептал, нежели спросил, Хаджи-Магомет.

– О, батано!<sup>6</sup> – стоном вырвалось из груди моей матери, и, подавшись вперед всем своим гибким и стройным станом, она упала к ногам деда, тихо всхлипывая и лепеча одно только слово, в котором выражалась вся ее беспредельная любовь к нему:

– О, батано, батано!

Он схватил ее, поднял и прижал к своей груди.

Я не помню, что было дальше... Я понеслась, как бешеная горная лошадка, по тенистым аллеям нашего сада, будучи не в силах удержать порыв восторжен-

---

<sup>6</sup> Батано – господин по-грузински; это слово прибавляют для почти-тельности.

ного счастья, захватившего могучей волной мое детское сердечко...

Я носилась, задыхаясь, плача и смеясь в одно и то же время... Я была счастлива, как никогда, острым, захватывающим, почти невыносимым порывом счастья...

Когда, несколько успокоенная, я вернулась в комнату, то увидела мою мать, сидящую у ног деда... Его рука лежала на ее чернокудрой голове, и в глазах обоих сияла радость.

Отец, вернувшийся во время моей бешеной скачки по саду, подхватил меня на руки и покрыл мое лицо десятком самых горячих и нежных поцелуев... Он был так счастлив за маму, мой гордый и чудный отец!

Это был лучший день в моей жизни. Это было первое настоящее, сознательное счастье, и я наслаждалась им всем моим юным сердечком...

Вечером у моей постельки они собрались все трое – отец, мать, деда и я, смеясь сквозь дымку дремоты, соединяла их большие руки в моих крошечных кулаках и заснула под тихий шепот их ласкового говора...

Новая, чудесная, мирная жизнь воцарилась под нашей кровлей. Дед Магомет чаще приезжал из аула, один или с Бэллой, моей молоденькой теткой – участницей моих детских игр и проказ.

Но наше счастье длилось недолго. Прошло всего

несколько месяцев после того блаженного дня, как вдруг моя бедная дорогая мама тяжело заболела и скончалась. Говорят, она зачахла от тоски по родному аулу, который не могла даже навещать, боясь оскорблений со стороны фанатиков-татар и непримиримого врага ее – старого муллы.

Весь Гори оплакивал маму... Полк отца, знавший ее я горячо любивший, рыдал, как один человек, провозжая ее худенькое тельце, засыпанное дождем роз и магнолий, на грузинское кладбище, разбитое поблизости Гори.

Мне не верилось до последней минуты, что она умирала...

Перед смертью она не сходила с кровли дома, откуда любовалась синеющими вдали горами и серебристо-зеленой лентой Куры...

– Там Дагестан... там аул... там мои горы... Там отец и Бэлла... – шептала она между приступами кашля и указывала вдаль, по направлению северо-востока, крошечной, почти детской, вследствие паразитической худобы, рукой.

И вся она, укутанная белой буркой, казалась нежным, прозрачным ангелом восточного неба.

Я помню с мучительной ясностью вечер, когда она умирала...

Тахту, на которой она лежала, подняли на кровлю,

чтобы она могла полюбоваться горами и небом...

Гори засыпал, обвеянный крылом благоуханной восточной ночи... Спали розы на садовых кустах, спали соловьи в чинаровых рощах, спали руины таинственной крепости, спала Кура в своих изумрудных берегах, и только несчастье одно не спало, одна смерть бодрствовала, поджидая жертву.

Мама лежала с открытыми глазами, странно блестящими среди наступающей темноты... Точно какой-то свет исходил из этих глаз и освещал все ее лицо, обращенное к небу. Лучи месяца золотыми иглами скользили по густым волнам ее черных волос и венчали блестящей короной ее матово-белый лоб.

Отец и я притихли у ее ног, боясь нарушить покой умирающей, но она сама поманила нас трепещущей рукой и, когда мы склонились к ее лицу, заговорила быстро, но тихо-тихо, чуть внятно:

– Я умираю... да, это так... я умираю... но мне не горько, не страшно... Я счастлива... я счастлива тем, что умираю христианкой... О, как хороша она – твоя вера, Георгий, – прибавила она, повернувшись в сторону моего отца, припавшего к ее изголовью, – и я удостоилась ее... Я христианка... я иду к моему Богу... Единственному и Великому... Не плачь, Георгий, береги Нину... я буду смотреть на вас... буду любоваться вами... а потом... не скоро, да, но все же мы соеди-

нимся... Не плачьте... прощайте... до свиданья... Как жаль, что нет отца... Бэллы... Передайте им, что я их люблю... и прощаюсь с ними... Прощай и ты, Георгий, моя радость, спасибо тебе за счастье, которым ты подарил меня... Прощай, свет очей моих... Прощай, моя джаным... моя Нина... Моя малюточка... Прощайте оба... не забывайте... черной розы...

Начинался бред... Потом она уснула... чтобы никогда больше не просыпаться. Она умерла тихо, так тихо, что никто не заметил ее кончины...

Я задремала, прикорнув щекою к ее худенькой руке, а проснулась под утро от ощущения холода на моем лице. Рука мамы сделалась синей и холодной, как мрамор... А у ног ее бился, рыдая, мой бедный, осиротевший отец.

Гори просыпался... Лучи восхода осветили печальную картину. Я не могла плакать, хотя ясно сознавала случившееся. Точно ледяные оковы сковали мое сердце...

А внизу по берегу Куры скакал всадник. Он, видимо, торопился в Гори и безжалостно горячил коня.

Вот он близко... близко... Я узнала в нем деда Магомета...

Еще немного – и всадник пропал под горою. Внизу хлопнула калитка... Кто-то по-юношески быстро пробежал лестницу, и в ту же минуту Хаджи-Магомет во-

шел на кровлю.

Трудно передать тот вопль отчаяния и бессильного, почти нечеловеческого горя, который вырвался из груди несчастного отца при виде тела дочери.

Страшен был крик деда Магомета... он потряс, казалось, не только кровлю нашего дома, но и весь Гори и диким эхом раскатился в горах, по ту сторону Куры. Вслед за первым воплем раздался второй и третий... Потом дед внезапно затих и, упав на пол, лежал без движения, широко разметав свои сильные руки.

Теперь только поняла я, как бесконечно дорога была моя мать этому полудикому питомцу горных аулов...

Вряд ли подозревала она когда-нибудь о силе этой молчаливой отцовской привязанности, вряд ли понимала она своего сурового фанатика-отца!

Если б она могла это почувствовать на своем смертном ложе, каким счастьем озарилось бы ее прекрасное лицо!

Но – увы! – ни понимать, ни чувствовать она уже не могла. Перед нами был труп, едва начинающий стынуть, труп той, которая еще так недавно пела свои чудесные песни, полные восточной грусти, и смеялась тихим, печальным смехом. Только труп...

Она умерла – моя красавица-деда! Черная роза обрела свою родину... Ее душа возвратилась в горы...



## Глава II

# Бабушка. Отец. Последний отпрыск славного рода

Деды не стало... На горийском кладбище прибавилась еще одна могила... Под кипарисовым крестом, у корней громадной чинары, спала моя деда! В доме наступила тишина, зловещая и жуткая. Отец заперся в своей комнате и не выходил оттуда. Дед ускакал в горы... Я бродила по тенистым аллеям нашего сада, вдыхала аромат пурпуровых бархатистых розанов и думала о моей матери, улетевшей в небо... Михако пробовал меня развлечь... Он принес откуда-то орленка со сломанным крылом и поминутно обращал на него мое внимание:

– Княжна, матушка, глянь-ка, пищит!

Орленок, действительно, пищал, изнывая в неволе, и своим писком еще более растравлял мое сердце. «Вот и у него нет матери – думалось мне, – и он, как я!»

И мне становилось нестерпимо грустно.

– Михако, голубчик, отнеси орленка в горы, может быть, он найдет свою деду, – упрашивала я старого казака, в то время как сердце мое разрывалось от тос-

ки и жалости.

Наконец, отец вышел из своей комнаты. Он был бледен и худ, так худ, что военный длиннополый бешмет висел на нем, как на вешалке.

Увидя меня с печальным лицом бродившей по чинаровой аллее, он подозвал меня к себе, прижал к груди и шепнул тихо, тихо:

– Нина, чеми патара сакварело!<sup>7</sup>

Голос у него был полон слез, как у покойной деды, когда она пела свои печальные горные песни.

– Сакварело, – прошептал еще раз отец и покрыл мое лицо поцелуями. В тяжелые минуты он всегда говорил по-грузински, хотя всю свою жизнь находился между русскими.

– Папа, милый, бесценный папа! – ответила я ему и в первый раз со дня кончины мамы тяжело и горько разрыдалась.

Отец поднял меня на руки и, прижимая к сердцу, говорил мне такие ласковые, такие нежные слова, которыми умеет только дарить чудесный, природой избалованный Восток!

А кругом нас шелестели чинары и соловей начинал свою песню в каштановой роще за горийским кладбищем.

Я ласкалась к отцу, и сердце мое уже не разрыва-

---

<sup>7</sup> Чеми патара сакварело – моя возлюбленная малютка.

лось тоскою по покойной маме, – оно было полно тихой грусти... Я плакала, но уже не острыми и больными слезами, а какими-то тоскливыми и сладкими, облегчающими мою наболевшую детскую душу...

Потом отец кликнул Михако и велел седлать своего Шалого. Я боялась поверить своему счастью: моя заветная мечта побывать с отцом в горах осуществлялась.

Это была чудная ночь!

Мы ехали с ним, тесно прижавшись друг к другу, в одном седле на спине самой быстрой и нервной лошади в Гори, понимающей своего господина по одному слабому движению повода...

Вдали высокими синими силуэтами виднелись мохнатые горы, внизу бежала засыпающая Кура... Из дальних ущелий поднималась седая дымка тумана и точно вся природа курила нежный фимиам подкрадывавшейся ночи.

– Отец! как хорошо все это! – воскликнула я, заглядывая ему в глаза.

– Хорошо, – тихим, точно чужим голосом ответил он.

И, взглядевшись пристальнее в его черные, ярко горящие зрачки, я заметила в них две крупные слезы. Должно быть, он вспомнил деду.

– Папа, – тихо произнесла я, как бы боясь нарушить

чарующее впечатление ночи, – мы часто будем так ездить с тобою?

– Часто, голубка, часто, моя крошка, – поторопился он ответить и отвернулся от меня, чтобы смахнуть непрошенные слезы.

В первый раз со дня кончины мамы я почувствовала себя снова счастливой. Мы ехали по тропинке, между рядами невысоких гор, в тихой долине Куры... А по берегам реки выростали по временам в сгущающихся сумерках развалины замков и башен, носивших на себе печать давних и грозных времен.

Но ничего страшного не было теперь в этих полуразрушенных бойницах, откуда давно-давно высовывались медные тела огнедышащих орудий. Глядя на них, я слушала рассказ отца о печальных временах, когда Грузия стонала под игом турок и персов... Что-то билось и kloкотало в моей груди... Мне хотелось подвигов – таких подвигов, от которых ахнули бы самые смелые джигиты Закавказья...

Мы только к рассвету вернулись домой... Восходящее солнце заливало бледным пурпуром отдаленные высоты, и они купались в этом розовом море самых нежнейших оттенков. С соседней крыши минарета мулла кричал свою утреннюю молитву... Полусонную снял меня с седла Михако и отнес к Барбале – старой грузинке, жившей в доме отца уже много лет.

Этой ночи я никогда не забуду... После нее я еще горячее привязалась к моему отцу, которого до сих пор немного чуждалась...

Теперь я ежедневно стерегла его возвращение из станицы, где стоял его полк. Он слезал с Шалого и сажал меня в седло... Сначала шагом, потом все быстрее и быстрее шла подо мною лошадь, изредка потряхивая гривой и поворачивая голову назад, как бы спрашивая шедшего за нами отца, как ей вести себя с крошечной всадницей, вцепившейся ей в гриву.

Но какова была моя радость, когда однажды я получила Шалого в мое постоянное владение! Я едва верила моему счастью... Я целовала умную морду лошади, смотрела в ее карие выразительные глаза, называла самыми ласковыми именами, на которые так щедра моя поэтичная родина...

И Шалый, казалось, понимал меня... Он скалил зубы, как бы улыбаясь, и тихо, ласково ржал.

С получением от отца этого неоценимого подарка для меня началась новая жизнь, полная своеобразной прелести.

Каждое утро я совершала небольшие прогулки в окрестностях Гори, то горными тропинками, то низменным берегом Куры... Часто я проезжала городским базаром, гордо восседая на коне, в моем алом атласном бешмете, в белой папахе, лихо заломлен-

ной на затылок, похожая скорее на маленького джигита, нежели на княжну славного аристократического рода.

И торгоши-армяне, и хорошенькие грузинки, и маленькие татарчата – все смотрели на меня, разиня рот, удивляясь моему бесстрашию.

Многие из них знали моего отца.

– Здравствуй, княжна Нина Джаваха, – кивали мне они головами и хвалили, к моему огромному удовольствию, и коня, и всадницу.

Но горные тропинки и зеленые долины манили меня куда больше пыльных городских улиц.

Там я была сама себе госпожа. Выпустив поводья и вцепившись в черную гриву моего вороного, я изредка покрикивала: «Айда, Шалый, айда!<sup>8</sup>» – и он несся, как вихрь, не обращая внимания на препятствия, встречающиеся на дороге. Он скакал тем бешеным галопом, от которого захватывает дух и сердце бьется в груди, как подстреленная птичка.

В такие минуты я воображала себя могущественной представительницей амазонок и мне казалось, что за мною гонятся целые полчища неприятелей.

– Айда! айда! – понукала я моего лихого коня, и он ускорял шаг, пугая мирно бродивших по улицам предместий поросят и барашков.

---

<sup>8</sup> Айда – вперед на языке горцев.

– Дели-акыз!<sup>9</sup> – кричали маленькие татарчата, разбегаясь в стороны, как стадо козлят, при моем приближении к их аулу.

– Шайтан девчонка! – твердили старухи, сердито грозя мне высохшими пальцами и недружелюбно поглядывая на меня из-под седых бровей.

И любо мне было дразнить старух, пугать ребят и нестись вперед и вперед по бесконечной долине между полями, усеянными спелой кукурузой, навстречу теплому горному ветерку и синему небу, манящему к себе своей неизъяснимой прелестью.

Как-то раз, возвращаясь с одной из таких прогулок с тяжелой виноградной лозой в руках, срезанной мною на ходу во время скачки при помощи маленького детского кинжала, подаренного мне отцом, я была поражена необычайным зрелищем.

На нашем дворе стояла коляска, запряженная парю чудесных белых лошадей, а сзади нее крытая арба с сундуками, узлами и чемоданами. У арбы прохаживался старый седой горец с огромными усами и помогал какой-то женщине, тоже старой и сморщенной, снимать узлы и втаскивать их на крыльцо нашего дома.

– Михако, – звонко крикнула я, – что это за люди?  
Седой горец и сморщенная старушка посмотрели

---

<sup>9</sup> Дели-акыз – сумасшедшая девчонка по-татарски.

на меня с чуть заметным насмешливым удивлением.

Потом женщина подошла ко мне и, прикрываясь слегка чадрой от солнца, сказала по-грузински:

– Будь здорова в твоём доме, маленькая княжна.

– Спасибо. Будь гостьей, – ответила я по грузинскому обычаю и перенесла удивленный взгляд на седого горца, лошадей и коляску.

Заметя мое изумление, незнакомая женщина сказала:

– Эти лошади и это имущество – все принадлежит вашей бабушке, княгине Елене Борисовне Джаваха-оглы-Джамата, а мы ее слуги.

– А где же она, бабушка? – вырвалось у меня скорее удивленно, нежели радостно.

– Княгиня там, – и женщина указала по направлению дома.

Соскочить с Шалого, бросить поводья подоспевшему Михако и ураганом ворваться в комнату, где сидел мой отец в обществе высокой и величественной старухи с седою, точно серебряною головою и орлиным взором, было делом одной минуты.

При моем появлении высокая женщина встала с тахты и смерила меня всю долгим и пронизательным взглядом. Потом она обратилась к моему отцу с вопросом:

– Это и есть моя внучка, княжна Нина Джаваха?



– Да, мамаша, это моя Нина, – поспешил ответить отец, награждая меня тем взглядом восхищения и ласки, которым я так дорожила.

Но, очевидно, старая княгиня не разделяла его чувства.

В моем алом, нарядном, но не совсем чистом бешмете в голубых, тоже не особенно свежих шальварах,<sup>10</sup> с белой папачой, сбившейся набок, с пылающим, загорелым лицом задорно-смелыми глазами, с черными кудрями, в беспорядке разбросанными вдоль спины, я действительно мало по ходила на благовоспитанную барышню, какую меня представляла, должно быть, бабушка.

– Да она совсем дикая джигитка у тебя, Георгий! – чуть-чуть улыбнувшись в сторону моего отца, проговорила она.

Но я видела по лицу последнего, что он не согласен с бабушкой... Чуть заметная добрая усмешка шевельнула его губы под черными усами – усмешка, которую я у него обожала, и он совсем серьезно спросил:

– А разве это дурно?

– Да, да, надо заняться ее воспитанием, – как-то печально и укоризненно произнесла бабушка, – а то это какой-то мальчишка-горец!

Я вздрогнула от удовольствия. Лучшей похвалы

---

<sup>10</sup> Шальвары – шаровары.

старая княгиня не могла мне сделать. Я считала горцев чем-то особенным. Их храбрость, их выносливость и бесстрашие приводили меня в неистовый восторг, я им стремилась подражать, и втайне досадовала, когда мне это не удавалось.

Между мною и княгиней-бабушкой словно рухнула стена, воздвигнутая ее не совсем любезной встречей; за одно это сравнение я готова была уже полюбить ее и, не отдавая себе отчета в моем поступке, я испустила мой любимый крик «айда» и, прежде чем она успела опомниться, повисла у нее на шее. Вероятно, я совершила что-то очень неблагоразумное по отношению матери моего отца, потому что вслед за моим диким «айда» раздался пронзительный и визгливый голос бабушки:

– Вай-вай!<sup>11</sup> что это за ребенок, да уйми же ты ее, Георгий!

Отец, смущенный немного, но едва сдерживающий улыбку, оторвал меня от шеи старухи и стал выговаривать мне за мою необузданную радость.

Его глаза, однако, смеялись, и я видела, что мой милый красавец-отец вместо выговора хочет крикнуть мне:

«Нина джаным, молодчина – горец. Джигит!» Этим возгласом он всегда поощрял все мои лихие выходки.

---

<sup>11</sup> Вай-вай! – чисто грузинский возглас горя, испуга.

Между тем бабушка торопливо приводила в порядок свои седые бублики и говорила сердитым голосом:

– Нет, нет, так нельзя, Георгий, ты растишь маленького бесенка... Что из нее выйдет, ведаёт Бог! Такое воспитание немислимо. Она ведь княжна старинного знатного рода!.. Наши предки ведут свое начало от самого Богдана IV! Мы царской крови, Георгий, и ты не должен забывать этого. Твой отец был обласкан Государем, я имела честь представляться Императрице, ты получил свое воспитание между лучшими русскими и грузинскими юношами и только в силу своего упрямства ты зарылся здесь, в глуши и не едешь в северную столицу. Мария Джаваха скончалась, – помяни Господь ее душу, – ее происхождение простой джигитки могло повредить тебе и помешать быть на виду, но теперь, когда она мирно спит под крестом, странно и дико не пользоваться дарами, данными тебе богом. Я приехала, сын мой, напомнить тебе об этом.

Я взглянула на говорившую. У нее было сердитое и важное лицо. Потом я встретила взгляд моего отца. Он стал мрачным и суровым, каким я не раз видела его во время гнева. Напоминание о моей покойной деде со стороны ее врага (бабушка не хотела видеть моей матери и никогда не бывала у нас при ее жизни) не растрогало, а скорее рассердило его.

– Матушка, – проговорил он, и глаза его загорелись

гневом, – если вы приехали для того, чтобы враждебно говорить о моей бедной Марии, – лучше было бы нам не встречаться!

И он сильно задергал концы своих черных усов, что он делал лишь в минуту большого волнения.

– Успокойся, Георгий, – взволновалась старуха, – я ничем не обижу памяти покойной Марии, но я не могу не сказать, что она не могла быть воспитательницей твоей Нины... Дочь аула, дитя гор, разве она сумела бы сделать из Нины благовоспитанную барышню?

Отец молчал. Замолкла и бабушка, довольная впечатлением, произведенным ее последними словами.

В эту минуту взгляд мой нечаянно упал через раскрытую дверь в соседнюю комнату. Там на тахте лежал мальчик одних лет со мною, но ростом гораздо меньше меня и, кроме того, бледнее и воздушнее.

Он протянул худенькие, немного кривые ноги, с которых старая грузинка, виденная мною на дворе, снимала изящные высокие сапожки... Его хрупкое, некрасивое личико утонуло в массе белокурых волос, падавших на белоснежный кружевной воротничок, надетый поверх коричневой бархатной курточки. Старая грузинка, вместо снятых дорожных сапожек, надевала на его слабые, в черных шелковых чулках, ноги лакированные туфли с пряжками, каких я еще не видывала у нас в Гори.

Он вошел в зал, где мы находились, и остановился у двери, точно сошедший со старинной картины, какие я видела в большом альбоме отца, маленький паж средневековой легенды.

Я успела рассмотреть, что у него, несмотря на пышные белокурые локоны, живой рамой обрамляющие хрупкий продолговатый овал лица, некрасивый, длинный, крючковатый нос и маленькие, узкие, как у полевого мышонка, черные глазки.

– Кто это? – бесцеремонно указывая на крошечного незнакомца пальцем, спросила я.

– Это твой двоюродный брат, князь Юлико Джаваха-оглы-Джамата, последний отпрыск славного рода, – не без некоторой гордости проговорила бабушка. – Познакомьтесь, дети, и будьте друзьями. Вы оба сироты, хотя ты, Нина, счастливее княжича... У него нет ни отца, ни матери... между тем как твой отец так добр к тебе и так тебя балует.

Последние слова бабушки звучали некоторым ехидством.

– Здравствуй! – просто подошла я приветствовать моего двоюродного брата.

Он смерил меня любопытно-величавым взглядом и нерешительно протянул мне свою бледную, сквозящую тонкими голубыми жилками прозрачную руку, всю утопающую в кружеве его великолепных манжет.

Я не знала, что мне с нею делать. Очевидно, мой рваный бешмет и запачканные лошадиным потом и пылью шальвары производили на него неприятное впечатление.

Наконец я догадалась пожать его худенькие, сухие пальцы.

Тогда он спросил:

– Вы девочка? – и скользнул недоумевающим взглядом по моим шальварам и папахе, лихо сдвинутой на затылок.

Я громко расхохоталась...

– Бабушка говорила мне, – продолжал так же невозмутимо маленький гость, – что я найду здесь кузину-княжну, но ничего не упоминала о маленьком брате.

Я захохотала еще громче; его наивность приводила меня в восторг, и к тому же я радовалась его бессознательной похвале; ведь он принял меня за мальчика!

Бабушка и отец тоже рассмеялись.

– Пойдемте в сад! – успокоившись, предложила я маленькому князю и, не дожидаясь его согласия, взяла его за руку.

Он беспрекословно повиновался и, не вынимая своих аристократических пальчиков из моей черной от загара, не по годам сильной руки, последовал за

мною.

Я долго водила его по тенистым аллеям, показывая выведенные мною розы, повела в оранжерею за домом и угощала персиками... Он рассматривал все равнодушно-спокойными глазами, но от фруктов отказался, говоря, что у него больной желудок.

Я, никогда ничем не болевшая и наедавшаяся персиками и дынями до отвала, с жалостным презрением посмотрела на него.

Мальчик с больным желудком! Что может быть печальнее?

Но мое презрение еще больше увеличилось, когда Юлико задрожал всеми членами при виде ковылявшего по аллее навстречу нам орленка.

– Господи! откуда это страшилище? – почти со слезами вскрикнул он и спрятался за мою спину.

– Да он не кусается, – поторопилась я его успокоить, – это Казбек, ручной орленок, выпавший из гнезда и принесенный мне папиным денщиком. Ты не бойся. Можешь его погладить. Он не клюнет.

Но Юлико, очевидно, боялся и дрожал, как в лихорадке.

Тогда я подхватила Казбека на руки и прижала к своей щеке его маленькую голову, вооруженную громадным клювом.

– Ну, вот видишь, он не тронул меня, и ты можешь

его приласкать, – урезонивала я моего двоюродного брата.

– Ах, оставьте вы эту скверную птицу! – вдруг пискливо крикнул он и весь сморщился, готовый расплакаться.

– Скверную? – вспыхнула я, – скверную? Да как ты смеешь оскорблять так моего Казбека!.. Да сам ты... если хочешь знать... скверный цыпленок...

Я вся покраснелась от негодования и не находила слов, чем бы больнее уколоть глупого трусишку.

Но он, казалось, мало обратил внимания на нелестное название, данное ему его дикой кузиной. Он только поежился немного и весь, точно нахохлившись, как настоящий цыпленок, выступал подле меня своими худыми, кривыми и длинными ножками.

Мы поднялись на гору, возвышающуюся за нашим садом, на которой живописно раскинулись полуразрушенные остатки древней горийской крепости.

С другой стороны, уступом ниже, лежало кладбище, на самом краю которого виднелся столетний кипарис, охраняющий развесистыми ветвями могилу мамы. Заросший розовым кустом могильный холмик виднелся издалека...

– Там лежит моя деда! – тихо произнесла я и протянула руку по направлению кладбища.

– Ваша мама была простая горянка; ее взяли пря-



мо из аула... – слышался надменный голосок моего кузена.

– Ну, что ж из этого? – вызывающе крикнула я.

– Ничего. А вот моя мама принадлежала к богатому графскому роду, который всегда был близок к престолу Белого царя, – с торжественной важностью пояснил Юлико.

– Ну, и что ж из этого? – еще более вызывающе повторила я.

– А то, что это большое счастье иметь такую маму, которая меня могла выучить хорошим манерам, – продолжал Юлико, – а то я бы бегал по горам таким же грязным маленьким чеченцем и имел бы такие же черные, осетинские руки, как и у моей кузины.

Его крохотные глазки совсем сузились от насмешливой улыбки, между тем как руки, с тщательно отполированными розовыми ногтями, небрежно указывали на мою запачканную одежду.

Это было уже слишком! Чаша переполнилась. Я вспыхнула и, подойдя в упор к Юлико, прокричала ему в ухо, вся дрожа от злости и негодования:

– Хотя твоя мать была графиня, а моя деда – простая джигитка из аула Бестуди, но ты не сделался от этого умнее меня, дрянная, безжизненная кукла!..

И потом, едва владея собой, я схватила его за руку и, с силой тряся эту хрупкую, слабенькую руку, про-

должала кричать так, что слышно было, я думаю, в целом Гори:

– И если ты еще раз осмелишься так говорить о моей деде, я тебя сброшу в Куру с этого уступа... или... или дам заклевать моему Казбеку! Слышишь, ты?!

Вероятно, я была страшна в эту минуту, потому что Юлико заревел, как дикий тур горного Дагестана.

В этот день, ознаменованный приехавшей к нам незнакомой мне до сих пор бабушкой, я, по ее настоянию, была в первый раз в жизни оставлена без сладкого. В тот же вечер ревела и я не менее моего двоюродного братца, насплетничавшего на меня бабушке, – ревела не от горя, досады и обиды, а от тайного предчувствия лишения свободы, которую я так чудесно умела до сих пор пользоваться.

– Барбалэ, о Барбалэ, зачем они приехали? – рыдала я, зарывая голову в грязный передник всегда мне сочувствующей старой служанки.

– Успокойся, княжна-козочка, успокойся, джаным-светик, ни одна роза не расцветет без воли Господа, – успокаивала меня добрая грузинка, глядя мои черные косы и утирая мои слезы грубыми, заскорузлыми от работы руками.

– Лучше бы они не приезжали – ни бабушка, ни этот трусишка! – продолжала я жаловаться.

– Тише, тише, – пугливо озиралась она, – услышит

батано-князь, плохо будет: прогонят старую Барбалэ. Тише, ненаглядная джаным! Пойдем-ка лучше слушать соловьев!

Но соловьев я слушать не хотела, а не желая подводить своими слезами Барбалэ – мою утешительницу, я пошла в конюшню, где тихим, ласковым ржанием встретил меня мой верный Шалый.

– Милый Шалый... светик мой... звезда очей моих, – перешла я на мой родной язык, богатый причитаниями, – зачем они приехали? Кончатся теперь наши красные дни... Не позволят нам с тобой скакать, Шалый, и пугать татарчат и армянок. Закатилось наше солнышко красное!

И я припадала головой к шее моего вороного и, цепляясь за его гриву, целовала его и плакала навзрыд, как только умеет плакать одиннадцатилетняя полудикая девочка.

И Шалый, казалось, понимал горе своей госпожи. Он махал хвостом, тряс гривой и смотрел на меня добрыми, прекрасными глазами...

## Глава III

# Два героя. Абрек. Моя фантазия

Бабушка с Юлико приехали надолго, кажется, навсегда. Бабушка поселилась наверху, в комнатах мамы. Эти дорогие для меня комнаты, куда я входила со смерти деда не иначе как с чувством сладкой тоски, стали мне теперь вдруг ненавистными. Каждое утро я и Юлико отправлялись туда, чтобы приветствовать бабушку с добрым утром. Она целовала нас в лоб – своего любимчика-внука, однако, гораздо нежнее и продолжительнее, нежели меня, – и потом отпускала нас играть.

Из Гори приходила русская учительница, дававшая нам уроки – мне и Юлико. Мой кузен оказывался куда умнее меня. Но я ему не завидовала: теперь мне это было безразлично. Моя свобода, мои чудесные дни миновали, и ко всему остальному я относилась безразлично.

С бабушкой приехало пять человек прислуги. Седой горец, как я узнала, был нукер<sup>12</sup> покойного деда и провел вместе с ним не один поход. Этот нукер, родом из Кабарды, бывший чем-то между дворецким и кон-

---

<sup>12</sup> Нукер – слуга.

торщиком в доме бабушки, сразу удостоился моего расположения. Между ним и папиным Михако установился род постоянных междоусобий по поводу вероисповеданий, храбрости, выносливости грузин и горцев – словом, они спорили обо всем, о чем можно было только спорить, благо предметов для спора находилось немало.

Михако знал, что старый нукер был родом из мюридов<sup>13</sup> – воинов грозного Шамиля, но, увлеченный львиною храбростью моего деда и образцовыми правилами русских солдат, ушел от своих и на глазах самого Шамиля предался русским.

Правда, он не дрался со своими, но сопровождал деда во всех его походах и был отличен не раз самим главнокомандующим, князем Барятинским.

Я любила до безумия рассказы старого Брагима и с этой целью не раз подговаривала Михако подзадорить нукера. Тот не заставлял себя долго просить для потехи «княжны-джаным», своей любимицы.

– А что, батано, – начинал Михако, лукаво подмигивая мне глазом, – ведь, слышно, ваш Шамиль большой хвастун был?

– Нет, ага<sup>14</sup> (они во время самых горячих споров иначе не величали друг друга), не говори так: Шамиль

---

<sup>13</sup> Мюриды – фанатики-горцы, окружавшие Шамиля.

<sup>14</sup> Ага – господин по-горски.

был великий вождь, и не было такого другого вождя у мюридов.

– Да что же он, сам-то уськал, уськал свой народ, травил его исламом, а как попался, так сам же с повинной пришел к нашему вождю. Ведь, небось, не бросился в пропасть, как в плен его взяли? Нет, привел-таки своих жен и сыновей, и внуков и сдал их на русское милосердие.

– Не говори, ага, того, чего не знаешь, – сурово останавливал Брагим.

– Наши долго бились... долго осаждали... Неприступное то было гнездо... На самой вершине гор засел вождь мюридов... В этой борьбе убили моего князя-орла... А мы все шли, все поднимались... В то время два ангела бились в небесах у Аллаха, белый и черный... Белый победил... и сбросил черного в бездну... Задрожали горы, а с ними и гнездо великого Шамиля. И понял гордый старец волю Аллаха и открыл ворота крепости и вывел жен и детей своих... Я был рядом, за камнем белого вождя. Я видел, как белый вождь принял из рук Шамиля его саблю... кривую, длинную, изрубившую на своем веку немало урусов.

– Вот то-то и скверно, что он отдал саблю, батонно, лучше бы он себя самого этой саблей, – и Михакко хладнокровно показывал рукой воображаемое движение сабли вокруг своей шеи.

Брагим недовольно крутил бритой головою. Он не одобрял втайне поступка Шамиля, но не хотел предавать своего бывшего вождя на суд уруса-грузина.

– Скажи, батоно, – начинал снова Михако, дав немного остыть старому нукеру от его воинского задора, – кто по-твоему скорее в рай попадет: наши или ваши?

– Аллах не делит людей на племена... У него только светлые и темные духи.

– А воины, мюридские или урусы, наследуют землю Магомета?

– Все храбрые, без различия племен и сословий: и уздени, и беки,<sup>15</sup> и вожди, и простые джигиты, все они одинаково дороги Магомету, – отвечал невозмутимо старик, сверкая из-под седых бровей своими юношески быстрыми глазами.

Я до страсти любила такие разговоры, особенно когда Брагим воодушевлялся и раскрывал передо мною дивные и страшные картины боя там, в далеких горных теснинах, среди стремнин и обрывов, под дикий шум горных потоков, смешанный с оглушительной пушечной пальбой и стонами раненых.

Я видела точно в тумане страшные крутизны, усыпанные, как мухами, нашими солдатами, лезущими на приступ... Их встречают градом пуль, лезвием ша-

---

<sup>15</sup> Беки – князья.

шек, криками «Алла!», «Алла!». И вот гнездо разрушено. Грозный вождь делается смиренным пленником и слезно молит о свободе. И белый и темный вождь долго смотрят друг другу в очи... Страшен и непроницаем этот взгляд... Тысячи русских и столько же горцев ждут решения. И что-то дрогнуло в сердце русского героя при виде пленного кавказского орла. Ему обещана милость устами князя, – обещано милосердие Белого Царя.

Хорошо это! дивно хорошо! И никогда раз видевший не забудет этой картины. А он ее видел – счастливец Брагим! О, как я ему завидовала!..

Кроме Брагима, с бабушкой приехала еще старая горничная, приветствовавшая меня в саду в первый день приезда. Ее звали Анной. С нею был ее внук Андро, маленький слабоумный камердинер Юлико, потом девушка Родам, взятая в помощь Анне, и еще молодой кучер и наездник, быстроглазый горец Абрек.

Отца я за это время видела мало. У него начиналась усиленная стрельба в полку, и он целые дни проводил там.

Прежде, бывало, я поджидала его за садом у спуска и берегу Куры, но бабушка нашла неприличными для сиятельной княжны мои одинокие прогулки, и они постепенно прекратились. С Шалым, к моей великой радости, я могла не расставаться. Правда, за мною



теперь постоянно ездил Абрек или вечно задумчивый, блаженный Андро, но они мне не мешали. Ведь и раньше на более продолжительные прогулки меня не отпускали без Михако. Но Михако терпеть не мог подобных поездок, потому что уставал в достаточной мере за домашними работами и к тряске в седле не питал особого влечения.

Зато Абрек умел и любил ездить. Он показал мне такие места в окрестностях Гори, о существовании которых я не имела ни малейшего понятия.

– Откуда ты все это знаешь, Абрек? – удивлялась я: – ведь ты не был ни в Алазани, ни в Кахети.

– Иок,<sup>16</sup> – смеялся он в ответ, блестя своими белыми, как сахар, и крепкими зубами, – иок! не был.

– Откуда же ты знаешь? – приставала я.

– Абрек все знает. От моря до моря все знает. – И он прищелкивал языком и улыбался еще шире, отчего лицо его получало хищное и лукавое выражение.

В нем было что-то лживое. Но я любила его за отчаянную храбрость, за то, что он всюду поспешал, как птица, на своем быстроногом коне, забивавшем порой своей ловкостью и скоростью моего Шалого.

Бесстрашный и смелый на диво был этот Абрек.

Он выучил меня шутя джигитовке, потихоньку от бабушки, и когда я на всем скаку коня поднимала воткну-

---

<sup>16</sup> Иок – нет – по-горски.

тый в землю дагестанский кинжалик, он одобрительно кивал головою и, прищелкивая языком, кричал мне:

– Хорошо! молодец! джигит будешь!

Я дорожила этими похвалами и гордилась ими.

Абрек был в моем понятии настоящим типом молодца-джигита.

С ним я выучилась всем тайнам искусства верховой езды и джигитовки и вскоре ничуть не уступала в ловкости своему учителю.

– Абрек! – кричала я в восторге от какой-либо новой ловкой проделки, – где ты выучился всему этому?

Он только смеялся в ответ.

– Горец должен быть ловким и смелым, а не то это будет баба-осетинка,<sup>17</sup> либо... – и тут он значительно подмигивал по направлению нашего дома, – либо княжич Юлико.

Если б бабушка услышала его слова, то, наверное бы, и дня не продержала под своей кровлей.

С Юлико у меня установились самые неприязненные отношения. Я не могла выносить его надменного вида, его женственно-нарядных костюмов, ни его «подевчонски» причесанной кудрявой головы.

«О, этот уж не будет никогда джигитом!» – тайно злорадствовала я, встречая его на прогулке в саду, где он чинно выступал по утоптаным дорожкам, бо-

---

<sup>17</sup> Осетины – презируемое между горцами племя.

ясь запачкать свои щегольские ботинки, и прибавляла вслух, смеясь ему прямо в лицо:

– Княжич Юлико! а где же твои няньки? – Он злился и бежал жаловаться бабушке. Меня оставляли в наказание без пирожного, но это нимало не огорчало меня и на следующий день я выдумывала новые способы раздражить моего двоюродного брата.

– Что с тобой, Нина? – как-то раз серьезно и строго спросил меня отец, застав меня и Юлико в самом горячем споре, – что с тобой, я не узнаю тебя! Ты забываешь обычай своей родины и оскорбляешь гостя в своем доме! Нехорошо, Нина! Что бы сказала твоя мама, если б видела тебя такую.

– О папа! – могла только выговорить я, задыхаясь от сухих рыданий, надрывавших мою грудь, и бросилась бежать со всех ног, чтобы не дать торжествовать Юлико.

О, как я его ненавидела! Вся моя детская душа собралась, казалось, из всех тайников ее все злобные чувства гнева, обиды и презрения, чтобы вылить их на голову злополучного княжича.

– Барбалэ, я не могу, я не могу больше, – задыхаясь, говорила я моей поверенной, – я убегу отсюда, Барбалэ.

– Что ты? Христос и святая Нина, твоя покровительница, да будут над тобою! – шептала старуха и кре-

стила меня своей заскорузлой рукою.

– Да ты понимаешь ли, что они внесли сюда горе, раздор и злобу! Ведь они сделали меня такою! Ведь разве я похожа на прежнюю княжну Нину!

– Эх, княжна-джаным, у всякого свое горе! – тяжело вздыхала Барбалэ.

Я понимала ее молчаливую тоску.

Дело в том, что с тех пор, как приехала бабушка со своим штатом, все заботы по дому и хозяйству, лежавшие на ней, перешли к Анне, горничной княгини. Теперь не Барбалэ, а Анна или хорошенькая Родам бегала по комнатам, звеня ключами, приготавливая стол для обедов и завтраков или разливая по кувшинам сладкое и легкое грузинское вино. Я видела, как даже осунулась Барбалэ и уже не отходила от плиты, точно боясь потерять свои последние хозяйственные обязанности.

– Бедная Барбалэ! Бедная старушка! – растроганно говорила я, глядя с любовью ее загорелые щеки.

– Бедная княжна, бедная джаным! Бедная сиротка! – вторила мне она, и мы обнимались крепко и горячо, как родные.

Как-то раз бабушка, всевидящая и вездесущая, услышала наши жалобы и прислала за мною Родам.

– Пожалуйте, княжна, княгиня просит, – лукаво улыбаясь, объявила мне она.

Я не любила Родам за ее чрезмерную привязанность к моему врагу Юлико, с которым она, взапуски с Андро, нянчилась, как с коронованным принцем. Я передернула плечами (эту привычку я переняла от отца) и стала медленно подниматься в комнаты бабушки.

Она меня встретила, красная, как пион, забыв в своем волнении все величие, достойное княгини, происходившей родом от самого Богдана IV, и, измерив всю меня враждебным взглядом, визгливо закричала:

– Так вот оно что, внучка! Вы бегаετε жаловаться на меня судомойкам и кухаркам... на меня – на вашу бабушку, желающую вам только добра и пользы! Чем я вам не угодила, позвольте спросить, чем? Тем ли, что я прилагаю все мои старания, чтобы из скверного, необузданного мальчишки сделать хоть сколько-нибудь приличную барышню?.. Юлико сказал мне, что ты продолжаешь дразнить его, гадкая девчонка! Предупреждаю, если это будет продолжаться, я отниму у тебя лошадь и велю запрягать ее в фаэтон для Юлико, а ты будешь сидеть до тех пор дома, пока осенью я не отвезу тебя в институт!

Слова бабушки как громом меня поразили... Мне казалось, что земля уходит из-под моих ног!

Институт... возможность потерять Шалого и в конце концов жалобы, вечные жалобы этого противного Юлико...

– Нет... нет... ни за что не расстанусь с Шалым и не поеду в институт... Ведь не повезут же меня туда связанную в самом деле! А Юлико я ненавижу и никогда не перестану изводить его...

Так рассуждала я, и в голове моей зрели планы один другого замысловатее, как бы досадить ненавистному мальчишке.

Я вышла, шатаюсь, из комнаты.

Моя злоба к Юлико разгоралась все сильнее и сильнее...

Мне живо стали представляться картины одна другой несообразнее, но полные огня и красок, на которые способно только пылкое воображение молоденькой южанки. Мне казалось, что я – могущественная из королев, веду непримиримую войну с моим родственником, тоже королем, Юлико. Мы бьемся долго, бьемся насмерть... Мои воины оказывают чудеса храбрости... Враги побеждены... Король их – мой пленник... Он стоит передо мною, весь закапанный кровью, со связанными за спиной руками, испуганный насмерть тем, что его ожидает. А его ожидает смерть. Этого требуют мои воины...

– Князь Юлико... то есть король (поправляю я себя мысленно), знаете ли вы, что будет с вами?

Он бледнеет, ноги его дрожат и подкашиваются... Он на коленях предо мною униженно молит о пощаде.

– Вы должны умереть, ваше величество, – говорю я (в такую минуту я не могу называть его иначе, и потом он, в моем воображении, был храбр и дрался, как лев).

Он поднимает ко мне бледное и прекрасное лицо... (Непременно прекрасное... Юлико, король моей фантазии, не может обладать длинным носом и мышинными глазками настоящего Юлико.) Я читаю в его лице смертельный ужас.

Тогда я сзываю моих воинов звуком серебряного рога, такого именно, какой бывает только у героев и вождей, и говорю им:

– Я, ваша королева, прошу у вас милости для этого царственного пленника... Я отдаю вам за его жизнь все мои сокровища! Вы должны, вопреки обычаю предков, пощадить его!

И вожди и воины, пораженные моим великодушием, высоко поднимают меня на щите, как это делалось у древних народов, и молодой пленный король склоняется к моим ногам, целуя мои одежды.

– Вот как я тебе отомстила, Юлико! – кричу я ему и, забыв действительность, бегу, как безумная, по царской аллее.

Мои щеки горят... Разметавшиеся косы хлещут меня по спине... Я натыкаюсь на Абрека, седлающего Шалого...

– Скорей, скорей, едем, Абрек! – кричу я в иступлении.

Но вдруг взгляд мой замечает ненавистную маленькую фигуру, приютившуюся в тени каштана, и я бросаю новое оскорбление Юлико – не королю воображаемой сказки, а настоящему Юлико с длинным носом и мышинными глазками:

– Слушай, князь-девчонка, если ты еще раз осмелишься сплетничать на меня бабушке, то я затопчу тебя копытами моего Шалого! Слышишь?

И вихрем уношусь в горы...



## Глава IV

### Бэлла. Неожиданная радость

- Нина! княжна-джаным! Сердце мое!
- Бэлла-радость!
- Золотая Нина!
- Бэлла! Бэллочка! Драгоценная.

Весь этот поток нежных имен вылился сразу с бурными поцелуями и горячими объятиями у ворот нашего сада, где стояли две чистокровные горные лошадки и два джигита в праздничных нарядах. В одном я узнала дедушку Магомета; другой, молоденький, быстроглазый, оказался моей хорошенькой теткой, сестрой покойной деды, Бэллой, дочерью Хаджи-Магомета-Брека. Хотя моя тетка была старше меня лет на 6 или на 7, но мы были с нею закадычными друзьями. Бэлла редко бывала в Гори, и потому ее громадные черные глаза так и сияли жадным любопытством.

– Золотая моя джаным, хорошенькая, изумрудная моя, яхонтовая... – тянула она своим певучим голоском, и смеялась и целовала меня, и звенела запястьями под голубым, золотом шитым бешметом.

– А мы ехали... долго... ехали... все горами... гора-

ми... останавливались только у духанов,<sup>18</sup> а ночевали в аулах... – рассказывала она, поминутно пересыпая свою речь веселым, детски-беспечным смехом.

– Как же ты без чадры, Бэлла? – удивилась я, зная, что дед Магомет строго придерживается обычаев горцев.

– Тсс! – лукаво погрозила она пальцем и покосилась на отца, дружески обнимающегося с подоспевшим папой. – Чадра под бешметом... Здесь урусы, а ваши женщины не прячутся под чадрую... Я в гостях у урусов.

– Молодец Бэлла! Ай да дикая козочка, – рассмеялся мой отец и повел дорогих гостей к дому.

– А у нас новость, – шепотом сообщала я моему другу. – Приехала чужая бабушка... такая важная и сердитая... А с нею брат... двоюродный... Такой кудрявый... вот увидишь, и злющий, как голодный волчонок.

– Голодный волчонок! – подхватила Бэлла и громко, раскатисто рассмеялась.

На крыльце нежданных гостей встретила бабушка со своим неизменным Юлико.

– Здравствуй, Хаджи-Магомет, добро пожаловать, – насколько могла любезнее, приветствовала она деда, своего давнишнего врага.

---

<sup>18</sup> Духан – кабачок, харчевня.

– Здравствуй, княгиня, – сурово, без улыбки ответил старик, не любивший ее за ее чрезвычайную кичливость.

– Здравствуй, госпожа! – прозвучал звонко голосок Бэллы, и смеющееся, полное своеобразной прелести личико предстало перед старухой.

– Эта хорошенькая девушка – твоя дочь ага-Магомет? – обратилась бабушка к гостю.

Тот молча кивнул головой.

– Ты счастлив должен быть, ага, имея такую прекрасную дочь!.. – желая довершить любезность, продолжала бабушка.

– Будь благословенна Аллахом, госпожа, за твою доброту, – сурово произнес старик и остановил ласковый и грустный взгляд на дочери.

«Верно, он вспомнил деду», – подумала я и не ошиблась.

– У меня была и другая дочь, такая же прекрасная и добрая, но волею Аллаха она в раю... – тихо произнес он.

Всем стало грустно... Всем вспомнилась моя милая, незабвенная красавица-мать.

– А вот это внук мой, княжич Юлико, – не без тайной гордости произнесла бабушка, выдвигая вперед своего любимца.

И вдруг веселое личико моей молоденькой тетки

сморщилось от спеха, и задрожали, и запрыгали на ее груди звонкие золотые монисты и ожерелья.

Она без церемонии трогала пальцами бархатный костюмчик моего кузена, его отложной воротничок, его длинные, как у девочки, кудри и хохотала до упаду.

– Косы девушки... шальвары мальчика... ай да джигит! – кричала она, не стесняясь, между бешеными приступами хохота.

Мы с отцом не могли не улыбнуться, смотря на эту веселую и живую дикарку.

– Перестань, Бэлла! – строго прикрикнул дед, видя, что старая княгиня начинает краснеть от приступа досады и сам виновник этого смеха не знает, куда деться от смущения.

Смех прекратился, но Бэлла долго не могла успокоиться. Много позднее, с возрастающим хохотом, говорила мне:

– Я думала, это кукла... а он живой, настоящий... Джигитом будет.

И мы обе, и тетка и племянница, полные веселья и жизненного задора, умирали со смеху.

– Знаешь, зачем я приехала? джанночка, светик мой! – говорила мне она, увлекая меня на наше любимое место – под ветви густолиственной чинары, и быстро продолжала, не дожидаясь моего ответа: – Ведь Бэлла, не простая Бэлла, Бэлла счастливая...

под хорошей звездой родилась... Бэлла замуж идет за узденя... за богатого... всего много будет... и табун будет... и стадо будет... и золото... все!

– Бэллочка! – воскликнула я в ужасе, – ты замуж! Да ведь ты маленькая!

– Маленькая!.. – засмеялась она неудержимым смехом. – Так что ж? Мне лет много... Еще весна... и еще весна... и еще... три весны и еще... и Бэлла-старуха... и никто не женится на Бэлле... даже самый старый пастух...

– Да как же, Бэллочка, я-то? – чуть не с плачем вырвалось у меня.

– У-у, глупая джанночка! Ты моя подруга будешь, самая близкая... Сестра будешь... На свадьбе моей лезгинку плясать будешь. У-у, красавица моя, лань быструглазая! душечка!

И она опять целовала меня крепко и восторгалась мною с живостью и горячностью ее азиатской природы.

Мне ужасно странным казалось, что крошка-Бэлла, семнадцатилетняя девушка, подруга моих детских игр, сорванец и веселая шалунья, выходит замуж. Я боялась лишиться моей бойкой черноглазой подруги, но желание присутствовать на ее свадьбе, плясать удалую лезгинку, которую я исполняла в совершенстве, а главное – возможность уехать на несколько дней в горы, где я не была ни разу со дня смерти деды

и где меня видели в последний раз маленьким шестилетним ребенком – вот что меня обрадовало! И, не отдавая себе отчета в том – будет ли или не будет счастлива Бэлла, захваченная мыслью о предстоящих мне удовольствиях, я запрыгала и закружилась, хлопая в ладоши, вокруг моей хорошенькой приятельницы.

– Ай, Бэлла, ты княгиня будешь... настоящая княгиня! Ваше сиятельство...

И мы снова обнимались и хохотали, приводя бабушку в негодование нашими дикими проявлениями восторга.

– А когда же мы поедем? – приставала я к отцу за обедом, лукаво переглядываясь с сидящей против меня Бэллою.

– Завтра я отпущу вас с Юлико... Дедушка Магомет, – обратился отец к своему тестю, – ты возьмешь с собою маленького княжича?

– В доме старого Магомета рады гостям! – ласково ответил мой дед. – А разве княгиня побрезгует моим гостеприимством?

Но бабушка с любезной благодарностью отклонила предложение.

– Стара я уже для таких поездок, – сказала она, – а Юлико пусть едет, – добавила она милостиво. – Только я не отпущу его без старой Анны. А ты, Георгий, не поедешь в горы?.. – обратилась она к отцу.

Но у отца были постоянные занятия. Войска перебирались в лагерь, и он не мог отлучиться надолго от своего полка.

– Я пришлю тебе мой подарок, Бэлла, – ласково обратился отец к затуманившейся на минуту свояченице.

Они были большими друзьями, и молодой горянке очень хотелось видеть его на своей свадьбе.

Напоминание о подарке, однако, живо прогнало печаль с ее милого личика, и она уже громко смеялась и, хлопая в ладоши, рассказывала, какая она будет знатная, богатая узденьша.

– Барбалэ, на заре мы уезжаем... Прощай! – кричала я, с шумом распахивая дверь каморки Барбалэ, – уезжаем все, деда, Бэлла, Анна, я и Юлико.

– Анна? и она уезжает? – встrepенулась моя старушка.

– И Анна! и Анна! Ты можешь одна подавать на стол твоему князю, печь лобии<sup>19</sup> и мариновать персики. Анна уезжает, радуйся, моя Барбалэ!

И возвестив любимой служанке столь радостную для нее весть, я уже мчалась дальше по следам Бэллы, крича во все горло: «Завтра на заре мы уезжаем».

– Михако, миленький, ты хорошенечко присматривай за Шалым, – упрашивала я нашего денщика. – По-

---

<sup>19</sup> Лобии – любимое грузинское кушанье.

жалуйста, Михако.

– Будьте покойны, княжна, – успокаивал он меня, глядя лоснящуюся спину моего вороного.

– Я уезжаю завтра с дедой, – обратилась я к Родам, тщательно разглаживавшей кружевные воротнички Юлико. – Прощай, Родам, я уезжаю надолго.

Нельзя сказать, чтобы девушка приняла с особенной печалью эту новость.

Вечером того же дня я, уходя спать, завернула в кабинет отца. Он лежал на тахте со своей неизменной трубкой в зубах.

– Папа! – тихо сказала я, – завтра мы уезжаем. Ты прости мне, папа, мои стычки с Юлико, но я его так ненавижу!

– За что, Нина? – спросил отец.

– Ах, не знаю, право... – ответила я. – Кажется, за все, за важность, за чванство, за трусость... ну, словом, за все, за все.

– И ты думаешь, мне это приятно, девочка? – И в голосе моего отца послышались непривычные для моего уха нотки грусти.

– Папочка, – пылко вырвалось у меня, – я знаю, я – дурная, злая девчонка, но зачем они приехали! Без них было так хорошо!

– Тише! что ты, глупенькая! – и отец зажал мне рот рукою, которую я покрыла горячими, бурными поцелу-



ями.

– Ну, что мне делать с тобою, буйная ты моя, непобедная головушка? – улыбнулся как-то грустно отец и добавил тихо: – Там-то, в гостях, веди себя, по крайней мере, хорошенько. Я спрошу по приезде дедушку.

– О, да! – убежденно вырвалось у меня, – я обещаю тебе это, отец! – И поцеловав его еще раз, я птичкой выпорхнула из комнаты.

В этот вечер мы долго слушали соловья с Бэллой. Потом, обнявшись, пошли в комнату, где спали в эту ночь вдвоем на широкой тахте.

Молоденькая татарка сбросила с ног красные сафьяновые туфельки и долго молилась, повернувшись лицом к востоку. Ее лицо было серьезно и важно и мало походило на лицо той Бэллы, которая с криком и визгом гонялась за мной по аллеям сада.

– Слава Аллаху и Магомету – Пророку его! – вырывался по временам из груди ее молитвенный шепот.

Глядя на мою подругу, встала на молитву и я.

– Господи, – с тоской повторяла я, – помоги Ты мне, Господи, поменьше обижать Юлико и побольше радовать папу!

# Глава V

## В дороге. Аул Бестуди.

### Свадьба Бэллы

Мы выехали на заре... Еще задолго до восхода у ворот стояла почтовая коляска, куда Родам, Абрек и Андро переносили всевозможные узелки и тюрички с пожитками и провизией. Бабушка напутствовала на крыльце Юлико:

– Ты помни, милый, что настоящий князь должен держать себя с достоинством, – говорила она. – Веди же себя в чужом ауле, как подобает тебе по твоему происхождению.

И она перекрестила его несколько раз и поцеловала с материнскою нежностью.

– Прощайте, бабушка. – подошла я к ней.

– Прощай, – сухо кивнула она мне и протянула руку для поцелуя. – Не обижай Юлико... Веди себя прилично...

– Я уже обещала это моему отцу! – не без гордости заявила я и, еще раз повиснув на папиной шее, шепнула ему, пока он целовал меня в «свои звездочки», как называл он мои глаза в минуту особой нежности: – Слышишь? я обещала это тебе и постараюсь сдер-

жать мое обещание.

Бэлла занесла ногу в стремя и глядела на дедушку Магомета, готовая повиноваться по одному его взгляду. Она с дедой ни за что не хотели сесть в коляску и решили сопровождать нас всю дорогу верхом. Со мной в экипаж сели Анна и Юлико. Абрек поместился на козлах вместе с ямщиком-татаринном. Нарядный и изнеженный, как всегда, Юлико полулежал на пестрых подушках тахты, взятых из дому. Ему хотелось спать, и он поминутно жмурился на появляющийся из-за гор багровый диск солнца.

– Ну, храни вас Бог! – осенил отец широким крестным знаменем коляску, провожая меня долгим любящим взглядом...

Лошади тронулись...

Горы и скалы, пастбища и поля, засеянные кукурузой, замелькали перед нами. Мы ехали по долине Курры и любовались ее плавным течением. Изредка на пути попадались нам развалины крепости и замков.

К вечеру мы остановились переменить лошадей и отдохнуть в духане, прежде чем вступить за черту в горы. Духан стоял у подошвы горы, весь почти скрытый под навесом исполинской скалы... Хозяин духана, старый армянин, принял нас как важных путешественников и гостеприимно открыл нам двери духана. Нам отвели самую лучшую комнату с громадным

Бухаром,<sup>20</sup> в котором жарился на угольках ароматич-  
ный кусок баранины. Вкусный шашлык, соленый кве-  
ли,<sup>21</sup> легкое грузинское вино, заедаемое лавашами –  
все было вмиг уничтожено проголодавшимися желуд-  
ками.

– Ночь мы проведем в горах, – заявил деда Маго-  
мет, чем привел меня в неопиcуемый восторг.

– А там нет разбойников? – тревожно спросил за-  
дремавший было у камина княжич.

– Душманы<sup>22</sup> всюду... Душманами кишат горы, – со  
смехом воскликнула Бэлла, но, заметив растерянный  
вид Юлико, сразу осеклась.

Я же, помня обещание, данное отцу, старалась ни-  
чем не дразнить трусливого мальчика.

На свежих горных лошадках мы бойко въехали в  
горы. Я удивлялась только выносливости коней деда  
и Бэллы, которые неустанно ступали под ними сво-  
ей быстрой иноходью. Мне хотелось спать, но карти-  
на горной ночи была до того заманчиво-прекрасна,  
что я глядела на нее, не отрываясь и забывая о сне.  
Палевый диск месяца обливал горы бледно-золоти-  
стым дрожащим светом. Внизу бежали потоки, шумя и  
волнуясь, точно спеша на званный праздник... По кра-

---

<sup>20</sup> Бухар – камин.

<sup>21</sup> Квели – местный сыр.

<sup>22</sup> Душманы – горные разбойники.

ям дороги зияли пропасти, страшные и непроницаемые... Часто-часто среди ночной тишины обрывался камень от уступа и падал с оглушительным стоном в жадные объятия бездны... Юлико вздрагивал от страха и с испугом открывал слипшиеся глаза... Он пугался шума горных потоков и поминутно вскрикивал при падении небольших обвалов и хватал то меня, то Анну за руку.

Между тем мы поднимались все выше и выше в горы, теперь уже вдоль течения быстрой Арагвы. Миновав ее, мы начали углубляться в страну горцев.

Я уснула, убаюканная мирным позвякиванием наших бубенчиков, в первый раз чувствуя себя свободной от нравочений и поминутных выговоров бабушки...

Проснулась я во время остановки у нового духана. Подле меня спала Бэлла. Нимало не уставшая от проведенной в седле ночи, она села в коляску по настоянию деды. Княжич Юлико прикорнул белокурой головою к плечу старой Анны и также спал.

А солнце уже поднялось высоко и озолотило скаты гор, покрытые зеленью и лесом...

Мы ехали теперь по узкой тропинке на самом краю Ущелья. Я взглянула вниз, свесившись через край коляски, и тотчас же зажмурила глаза, испугавшись зияющей пасти черной бездны.

– Деда! – тихонько окликнула я старика, ехавшего за нами и ведшего на поводу коня Бэллы, – скоро Бестуди?

Он тихо засмеялся в ответ:

– Скоро захотела, торопиться некуда – успеем!

– Возьми меня на седло, деда! – попросила я, и старик, любивший меня, пожалуй, не меньше своей Бэллы, протянул свои сильные руки и, перебросив меня через кузов коляски, опустил на седло Бэллиной лошади.

– Берегись, джаным, предайся воле коня и сиди спокойно, – сказал он, красноречиво косясь на пропасть.

– Я не боюсь! – не без тайной гордости воскликнула я.

И действительно, я больше не ощущала страха.

Целый день ехала я по краю горной стремнины, точно вросшая в седло моего коня... Иногда я понукала его легким движением каблучка и ужасно радовалась, когда дед Магомет оглядывался назад и обнимал всю мою маленькую фигурку ободряющим и в то же время любующимся взглядом.

Вдруг я заметила горного тура, выбежавшего на самый край пропасти.

– Ах, – успела только крикнуть я, – смотрите!

Но тур повел своими круглыми глазами и, увидя

приближающуюся кучку людей, скрылся за уступом.

Нам попадались навстречу целые стада серн, прелестных и грациозных, с умными глазами и гибкими членами. Они разбегались при нашем приближении, пугливые и дикие, с ветвистыми рогами.

Проведя еще ночь под кровлей горного духана, мы, наконец, к вечеру подъехали к аулу Беджит.

Я первая заметила его белеющие сакли и радостно закричала приветствие, подхваченное горным эхом и разбудившее все еще сонного Юлико.

Еще немного – и миновав Беджит с его большими и богатыми саклями и высокою мечетью, мы выехали в лесистую долину и стали снова подниматься к аулу Бестуди, прилепившемуся своими саклями к горным склонам.

Вот полуразвалившиеся бойницы крепости, вот кривая улица, ведущая к дому деда... По ней двенадцать лет тому назад русский воин и князь увозил, пользуясь покровом ночи, неоцененную добычу – красавицу-горянку.

Я вспомнила этот аул при первом же взгляде, несмотря на то, что была здесь очень маленькой девочкой.

Нас встретил старый наиб,<sup>23</sup> весь затканый серебром, с дорогим оружием у пояса. Наиб приветствовал

---

<sup>23</sup> Наиб – старшина селения.

деда с благополучным возвращением.

– Моя внучка – княжна Джаваха-оглы-Джамата, – представил он меня наибу.

– Приветствую дочь русского бека в моем ауле, – величаво и торжественно произнес старик.

– Это отец моего жениха, – успела мне шепнуть Бэлла. – Он тоже бек, наиб нашего аула. Он важный ага... А я буду женою его сына, – не без гордости произнесла она.

– И тоже будешь тогда важная! – засмеялась я.

– Глупая джанночка! – расхохоталась Бэлла. – А вот и наша сакля.<sup>24</sup> Помнишь?

Коляска остановилась у большой сакли деда, приютившейся на самом краю аула, под навесом скалы, созданным самой природой, словно позаботившейся об охране ее плоской кровли от горных дождей.

– Вот мое царство! – и с этими словами Бэлла ввела нас под свою кровлю.

В первой комнате, устланной коврами и увешанной по стенам оружием, стояли низенькие тахты и лежали на коврах подушки. Комната эта называлась «кунацкой». Здесь деда принимал гостей, здесь пировали лезгины своего и чужих аулов.

Комнатка Бэллы, маленькая, уютная, с ходом на кровлю, была тоже сплошь устлана коврами. Юли-

---

<sup>24</sup> Сакля – домик горцев.



ко рассматривал всю обстановку сакли любопытными глазами. Он даже на минуту оживился от своей сонливости и, войдя на кровлю, свесившуюся над бездной и охраняемую горной скалою, сказал:

– Здесь точно в сказке! Я вам завидую, Бэлла!

Она, конечно, не поняла, чему он завидует, но рассмеялась по обыкновению своим заразительным смехом.

Между тем со всего аула бежали маленькие горяне и горянки к сакле Хаджи-Магомета. Они с нескрываемым любопытством горных зверьков оглядывали нас, трогали наше платье и, бесцеремонно указывая на нас пальцами, твердили на своем наречии:

– Не хорошо... Смешные...

Им странным казались наши скромные, по их мнению, одежды без серебряных украшений и позументов. Даже бархатная курточка Юлико не производила на них никакого впечатления в сравнении с их пестрыми атласными бешметами.

– Глупые маленькие дикари! – обидчиво произнес Юлико, когда Бэлла перевела нам наивный лепет юного татарского населения. А они, раскрыв свои черные газельи глазки, лепетали что-то оживленно и скоро, удивляясь, чему сердится этот смешной, беленький мальчик.

Вечером я заснула на открытом воздухе, на плос-

кой кровле, где хорошенькая Бэлла сушила виноград и дыни...

Уже горы окунулись во мрак ночи, уже мулла прокричал свою вечернюю молитву с крыши минарета, когда прямо на мою низенькую, почти в уровень с полом постель прыгнул кто-то с ловкостью горной газели.

– Спишь, радость? – услышала я шепот моей шалуни-тетки.

– Нет еще! а что?

– Хочешь, покажу моего жениха, молодого князя? Он у отца в кунацкой... Иди за мной.

И, не дожидаясь моего ответа, Бэлла, ловкая и быстрая, как кошка, стала спускаться по крутой лестнице. Через минуту мы уже прильнули к окну кунацкой... Там было много народу, все седые большею частью, важные лезгины. Был тут и старый бек – наиб аула, встретивший нас по приезде. Между всеми этими старыми, убеленными мудрыми сединами людьми, ярко выделялся стройный и тоненький, совсем юный, почти ребенок, джигит.

– Это и есть мой Израил! – шепнула мне Бэлла.

– Красивый мальчик! – убежденно заметила я. – Зачем они собрались, Бэлла?

– Тсс! Тише, глупенькая... Услышат – беда будет. Сегодня один с отцом вносят моему отцу ка-

лым<sup>25</sup>... Сегодня калым, через три дня свадьба... Продали Бэллу... «Прощай, свобода!» – скажет Бэлла... – грустно заключила оба.

– А разве ты не хочешь выйти за Израила? – заинтересовалась я.

– Страшно, джаным: у Израила мать есть, сестра есть... и еще сестра... много сестер... На всех угодить надо... Страшно... А, да что уж, – неожиданно прибавила она и вдруг залилась раскатистым смехом, – свадьба будет, новый бешмет будет, барана зажарят, палить будут, джигитовка... Славно! И все для Бэллы!.. Ну, айда, бежим, а то заметят! – и мы с гиканьем и смехом отпрянули от окна и бросились к себе, разбудив по дороге заворчавшую Анну и Юлико.

Через три дня была свадьба...

Она с утра сидела в сакле на своей половине, где старая лезгинка, ее дальняя родственница, убирала и плела ее волосы в сотни тоненьких косичек. Набралось сюда немало лезгинских девушек – поглазеть на невесту. Тут была стройная и пугливая, как серна, Еме и Зара с недобрый восточным лицом, завидовавшая участи Бэллы и розовая Салемо с кошачьими ухватками и многие другие.

Но Бэлла, переставшая почему-то смеяться, жалась ко мне, пренебрегая обществом своих подруг.

---

<sup>25</sup> Калым – выкуп; по обычаю горцев, жених дает деньги за невесту.

– Нина, светик, яхонтовая... – шептала она по временам и быстро, быстро и часто целовала меня в глаза, лоб и щеки.

Она волновалась... В белом, шитом серебром бешмете в жемчужной шапочке, с длинной, мастерски за тканной чадрой, с массою ожерелий и запястий, которые поминутно позвякивали на ее твердой и тонкой смуглой шейке, Бэлла казалась красавицей.

Я не могла не сказать ей этого.

– У-у, глупенькая, – снова услышала я ее серебристый смех, – что говорить-то, сама душечка! У-у, газельи глазки, розаны-губки, зубы-жемчужины! – истинно восточными комплиментами наградила она меня.

Потом вдруг оборвала смех и тихо шепнула: «пора».

Еме подала ей бубен... Она встала, повела глазами, блестящими и тоскливыми в одно и то же время, и вдруг, внезапно сорвавшись с места и ударяя в бубен, понеслась по ковру в безумной и упоительной родимой пляске.

Бубен звенел и стонал под ударами ее смуглой хорошенькой ручки. Стройная ножка скользила по ковру... Она вскрикивала по временам быстро и односложно, сверкая при этом черными и глубокими, как горная стремнина, глазами. Потом закружилась, как волчок, в ускоренном темпе лезгинки, окруженная,

точно облаком, развевающеюся белою чадрою.

Салеме, Еме, Зара и другие девушки ударяли в такт в ладоши и притоптывали каблуками.

Потом плясали они. Наконец, очередь пришла на меня. Мне было совестно выступить на суд этих диких, ничем не стесняющихся дочерей аула, но не плясать на свадьбе – значило обидеть невесту и, скрепя сердце, я решилась. Я видела, как во сне, усмехающееся недоброе лицо Зары и поощрительно улыбающиеся глазки Бэллы, слышала громкие возгласы одобрения, звон бубна, веселый крик, песни... Я кружилась все быстрее и быстрее, как птица летая по устланному коврами полу сакли, звеня бубном, переданным мне Бэллой, и разбросав по плечам черные кудри, хлеставшие мое лицо, щеки, шею...

– Якши!<sup>26</sup> Нина молодец! Хорошо, девочка! Ай да урус! ай да дочь русского бека! – услышала я голос моего деда, появившегося во время моей пляски на пороге сакли вместе с важнейшими гостями.

– Якши, внучка! – еще раз улыбнулся он и протянул руки.

Я со смехом бросилась к нему и скрыла лицо на его груди... И старые, строгие ценители лезгинки, сами мастерски ее танцующие черкесы, хвалили меня.

Между тем Бэлла, которая не могла, по обычаю

---

<sup>26</sup> Якши – хорошо

племени, показываться в день свадьбы гостям, набросила на лицо чадру и скрылась за занавеской.

Из кунацкой доносились плачущие звуки зурны<sup>27</sup> и чиунгури.<sup>28</sup> Дед Магомет и бек-наиб позвали всех в кунацкую, где юноша-сазандар,<sup>29</sup> с робкими мечтательными глазами настраивал зурну.

Я и Юлико последовали туда за взрослыми.

– Как вы хорошо плясали, Нина; куда лучше всех этих девушек, – шепнул мне восторженно мой двоюродный брат. – Я бы хотел научиться плясать так же.

«Куда тебе, с твоими кривыми ногами!» – хотелось крикнуть мне, но, вспомня обещание, данное мною отцу, я сдержалась.

Лезгины расселись по тахтам и подушкам. Слуги поставили между ними дымящиеся куски баранины, распространяющие вкусный аромат, блюда с пряными сладостями, кувшины с душистым щербетом и с какою-то переливающейся янтарною влагою, которую они пили, вспоминая Аллаха.

Девушки одна за другою выходили на середину и с пылающими лицами и блестящими глазами отплясывали лезгинку. К ним присоединялись юноши-лезгины, стараясь превзойти друг друга в искусстве танцев.

---

<sup>27</sup> Зурна – музыкальный инструмент вроде волынки.

<sup>28</sup> Чиунгури – род гитары.

<sup>29</sup> Юноша-сазандар – странствующий певец.

Только юный бек Израил, жених Бэллы, сидел задумчивый между дедом Магометом и своим отцом наибом. Мне было почему-то жаль молоденького бека, жаль и Бэллу, связанных навеки друг с другом по желанию старших, и я искренно пожелала им счастья...

Лезгинка кончилась, и выступил сазандар со своей чиунгури.

Он тихо провел рукой по струнам своего инструмента, и запели струны, которым вторил молодой и сочный голос сазандара.

Он пел о недавнем прошлом, о могучем черном орле, побежденном белыми соколами, о кровавых войнах и грозных подвигах лихих джигитов... Мне казалось, что я слышала и вой пушек и ружейные выстрелы в сильных звуках чиунгури... Потом эти звуки заговорили иное... Струны запели о белом пленнике и любви к нему джигитской девушки. Тут была целая поэма с соловьиными трелями и розовым ароматом...

И седые, важные лезгины, престарелые наибы соседних аулов, и гордые беки слушали, затаив дыхание, смуглого сазандара...

Он кончил, и в его ветхую папаху, встретившую не одну непогоду под открытым небом, посыпались червонцы.

Между тем наступал вечер. Запад заалел нежным заревом. Солнце пряталось в горы...

Бек Израил первый встал и ушел с пира; через пять минут мы услышали ржание коней и он с десятком молодых джигитов умчался из аула в свое поместье, лежавшее недалеко в горах. Дед Магомет, взволнованный, но старавшийся не показывать своего волнения перед гостями, пошел на половину Бэллы. Я, Юлико и девушки – подруг невесты последовали за ним.

Там он трогательно простился с дочерью. В первый раз я увидела слезы в глазах хорошенькой Бэллы.

– Да будет благословенье Аллаха над моей голубкой, – тихим, растроганным голосом произнес старик и положил руку на черную головку молодой девушки, припав шей на его грудь.

Потом мы провожали Бэллу, усадили ее в крытую арбу, всю закутанную от любопытных глаз непроницаемой чадрой. В один миг ее окружили полсотни всадников из лучших джигитов аула Бестуди.

– Прощай, Нина, прощай, миленькая джаным, прощай, бирюзовая! – успела она шепнуть мне и наскоро прижалась мокрой от слез щекой к моему лицу.

Лошади тронулись. Заскрипела арба, заскакали с диким гиканьем всадники, джигитуюя всю дорогу от аула до поместья намба.

Вот она дальше, дальше эта тяжелая, скрипучая арба, окруженная гарцующими горцами. Вот еще раз мелькнула своим белым полотняным верхом и исчез-



ла за горным утесом...

Мы вернулись в саклю. Пустой и неуютной показалась мне она по отъезде Бэллы.

– Да... да... – поймав мой тоскующий взор, произнес загрузивший, как-то разом осунувшийся дедушка, – двенадцати лет не минуло, как одна дочь упорхнула, а теперь опять, другая... Обе важные, обе княгини, обе в золоте и довольстве... А что толку? Что мне осталось?

– Я тебе осталась, дедушка Магомет. Я, твоя Нина, осталась тебе! – пылко вырвалось у меня, и я обвила сильную шею старика моими слабыми, детскими руками.

Он заглянул мне в глаза внимательным и острым взглядом. Должно быть, много любви и беззаветной ласки отразилось в них, если вдруг теплый луч скользнул по его лицу и он, положив мне на лоб свою жесткую руку, прошептал умиленно:

– Спасибо тебе, малютка. Храни тебя Аллах за это, белая птичка из садов рая!

## Глава VI

# У княгини. Хвастунишка. Паж и королева. Ночные страхи

Гнездышко опустело... Выпорхнула пташка. Смолкли веселые песни в сакле Хаджи-Магомета, не слышно в ней больше веселого смеха Бэллы...

Мы с Юлико и Анной навестили на другой день молодую княгиню в ее поместье. Настоящим земным раем показался нам уголок, где поселилась Бэлла. Поместье Израила и его отца лежало в чудесной лесистой долине, между двумя высокими склонами гор, образующими ущелье. Весь сад около дома был полон душистых и нежных азалий; кругом тянулись пастбища, где без призора паслись стада овец. Табун лучших горных лошадок гулял тут же.

Новая родня Бэллы жила отдельно, в большом доме, в версте от сакли Израила.

Мы застали Бэllu за рассматриванием подарков, присланных ей накануне моим отцом. Она была в расшитом серебром бешмете, с массою новых украшений и ожерелий на шее, и перебирала в руках золотые нити, украшенные камнями, тихо, радостно смеясь. Ее юный муж сидел подле на корточках и тоже

смеялся весело и беспечно.

– Они совсем точно дети, смотри! – шепнула я Юлико с важностью взрослой, чем несказанно насмешила молодую.

– Здравствуй, джаным, здравствуй, княжич! – вскрикнула она, целуя нас и не переставая смеяться.

По ее лицу я заметила, что она счастлива.

Через пять минут она уже сорвалась с персидской тахты и с визгом гналась за мной по долине, начинавшейся за садом. Израил, забыв свое княжеское достоинство, следовал за нами, бегло оглядываясь, не видит ли кто-нибудь из нукеров дикую скачку своего бека. И Бэлла и Израил гораздо более походили на детей, нежели одиннадцатилетний Юлико, ушедший весь в презрительное созерцание нашей забавы. Я могла радоваться от души, что не теряю Бэллы, шалуни Бэллы, горной козочки-попрыгуньи, незаменимого товарища моих детских проделок.

Пред моим отъездом она неожиданно стала серьезной.

– Скажи отцу, – произнесла она, и глаза ее в эту минуту были торжественны и горды, – что я и мой господин, – тут она метнула взором в сторону Израила, столь похожего на господина, сколько Юлико на горного оленя, – что мой господин ждет его к себе.

– И что сказать еще, Бэлла?

– Скажи ему то, что видела и... ну, – что счастлива Бэлла... скажи, что хочешь, маленькая джаным!

– Прощайте, княгиня! – неожиданно расшаркался перед нею Юлико с грацией и важностью маленького маркиза.

Она не поняла сначала, потом так и прыснула со смеху и, обхватив его за курчавую голову, вьюном закружилась по сакле.

– Однако княгине Бэлле не мешает поучиться хорошим манерам! – говорил мне на обратном пути мой двоюродный братец.

– Сиди смирно, а то ты скатишься в пропасть, – презрительно оборвала я его, обиженная за моего друга, отодвигаясь от Юлико в самый угол коляски.

\* \* \*

– Ну, что Бэлла?

– Что княгиня?

– Много стада?

– Большой табун?

– Есть новые ожерелья?

Этими вопросами забросали нас Еме, Зара, Салеме, Фатима и другие подружки Бэллы, ожидавшие нас при въезде в аул. Они проводили нас до сакли деда и с любопытством слушали мои рассказы о житье мо-

лодой княгини.

– Слава Аллаху, если дочь моя счастлива... – сказал дед Магомет, направляясь к своему приятелю-мулле, которому он сообщал все свои и радости и невзгоды.

С его уходом опять посыпались на мою голову распросы юных джигиток.

– А велика ли сакля бека?

– Много оружия?

– А нукеров много?

Я еле успевала отвечать на вопросы молодых татарок.

– О, как бы я хотела, волею Аллаха, быть на месте Бэллы! – искренно воскликнула миловидная, розовенькая Салеме, всплеснув руками.

– Что она говорит? – спросил Юлико, который не понимал языка лезгинов.

Я перевела ему слова девушки.

– Есть чему завидовать! – презрительно сказал он. – Вот у бабушки моей в Тифлисе действительно несметные богатства. У нас там дом в три этажа, сплошь засыпанный разными драгоценностями! Мы ели на золотых блюдах, а за одну только рукоятку дедушкиного кинжала можно получить целый миллион туманов.<sup>30</sup> А сколько слуг было у бабушки... В саду би-

---

<sup>30</sup> Туман – золотая монета в 10 рублей.

ли фонтаны сладкого вина, а вокруг них лежали груды конфет...

– Вино запрещено Кораном, – вмешалась Зара, прерывая вранье моего кузена.

– Грузинам оно не запрещено. Только глупые магометане могут верить подобным запретам.

– Не смей оскорблять веру наших отцов! – крикнула Зара, и глаза ее загорелись злыми огоньками.

– Кто смеет говорить это мне, князю Юлико Джаваху? – ответил он и надменно обвел маленькими мышиными глазками собрание девушек.

– Перестань, Юлико, – шепнула я ему, – перестань, это может дурно кончиться для тебя!

– Да как же она смеет так относиться ко мне, природному грузинскому князю!

– Да какой ты князь! – недобро рассмеялась Зара. – Разве такие князья бывают? Вот наиб – князь... видный, высокий, усы в палец, глаза, как у орла... А ты маленький, потешный, точно безрогий горный козел с переломанными ногами.

И все три девушки, довольные остротой подруги, залились громким, бесцеремонным смехом.

Что-то кольнуло мне в сердце. Жалость ли то была, или просто родовитая гордость, не позволяющая оскорблять в моем присутствии члена семьи Джаваху, но, не отдавая себе отчета, я близко подошла к За-

ре и крикнула ей, заглушая ее обидный смех:

– Стыдись, Зара! Или в лезгинском ауле забыли обычаи гостеприимства Дагестанской страны?

Зара вся вспыхнула и смерила меня взглядом. На минуту воцарилось молчание. Потом она подхватила со злым смехом:

– А ты чего заступаешься за этого ощипанного козленка?.. Или он уделяет тебе от своего богатства? Или ты служишь унаиткой<sup>31</sup> в сакле его бабки?

Это было уже слишком... Моя рука невольно схватилась за рукоятку кинжала, висевшего на поясе. Однако я сдержалась и, чувствуя, как бледнею от оскорбленной гордости и гнева, твердо произнесла:

– Знай, что никогда ничем нельзя подкупить княжну Нину Джаваха!

– Княжну Нину Джаваха, – как эхо, повторил за мною чей-то голос.

Живо обернувшись, я увидела маленького, сгорбленного, желтого старика в белой чалме и длинной мантии, стоявшего неподалеку.

Что-то жуткое было в выражении его острых глаз, скользивших по нашим лицам.

– Это мулла... – шепнула мне Еме, и все девушки разом встрепенулись и опустили головы в знак уважения к его священной особе.

---

<sup>31</sup> Унаитка – крепостная служанка, рабыня.

Мулла приблизился. Я не без тайного волнения смотрела на заклятого врага моего отца, на человека, громившего мою мать за то, что она перешла в христианскую веру, несмотря на его запрещение.

– Приблизься, христианская девушка... – чуть внятным от старости голосом произнес мулла.

Я подошла к нему не без тайного волнения и смело взглянула в его глаза.

– Хороший, открытый взгляд... – произнес он, кладя мне на лоб свою тяжелую руку. – Да останется он, волею Аллаха, таким же честным и правдивым во всю жизнь... Благодаренье Аллаху и пророку, что милосердие их не отвернулось от дочери той, которая преступила их священные законы... А ты, Леила-Зара, – обратился он к девушке, – забыла, должно быть, что гость должен быть принят в нашем ауле, как посол великого Аллаха!

И, сказав это, он кивнул мне едва заметно головою и пошел, опираясь на палку.

Когда вечером я спросила дедушку Магомета, что значит эта любезность старого муллы, – он сказал тихим, грустным голосом:

– Я говорил, дитя мое, с муллою. Он слышал твой разговор и остался доволен твоими мудрыми речами в споре с нашими девушками. Он нашел в тебе большое сходство с твоею матерью, которую очень лю-



бил за набожную кротость в ее раннем детстве. Ради твоих честных, открытых глазок и твоего мудрого сердечка простил он моей дорогой Марием... Много грехов отпускается той матери, которая сумела сделать своего ребенка таким, как ты, моя внучка-джаным, моя горная козочка, моя ясная звездочка с восточного неба!

И целый поток ласкательных слов полился из уст деда, и казалось, никогда еще не была так дорога ему его маленькая внучка Нина!

В тот же вечер мы уехали. Все население Бестуди высыпало нас провожать. Бек-наиб дал нам двух нукеров в провожатые, но Абрек смело заявил, что дорога спокойна и что на нем одном лежит забота доставить маленькую княжну и княжича его начальнику.

– Прощай, деда, прощай, милый! – еще раз обняла я старика на пороге сакли и вскочила в коляску между Анной и Юлико.

– Прощай, милая пташка из садов Магомета! – ласково ответил дед, и коляска затряслась по кривым улицам аула.

Из поместья бека Израила нам навстречу неслись два всадника, сверкая в лучах заходящего солнца серебряными рукоятками поясного оружия. Когда они приблизились, мы узнали в них Бэллу и Израила.

– Прощай, джанночка, не могла не проводить тебя.

И свесившись со своего расшитого шелками и золотом седла, Бэлла звонко чмокнула меня в обе щеки.

– Бэлла! душечка, спасибо!

– Чего спасибо! не тебе радость... мне радость, – быстро затараторила она по своему обыкновению. – Говорю сегодня Израилу – едем: Нина уезжает, проводим на конях... Он боится... коней взять из табуна боится без отцова спросу... «Ну, я возьму», – говорю... И взяла... Чего бояться... не укусит отец...

И оба звонко расхохотались, сами не зная чему – тому ли, что отец их не может кусаться, или что оба они молоды, счастливы и что вся жизнь улыбается им, как интересная сказка с чудесным началом.

Они долго провожали нас... Солнце уже село, когда Бэлла еще раз обняла меня и погнала лошадей назад.

Я привстала в коляске, несмотря на воркотню Анны, и смотрела на удаляющиеся силуэты двух юных и стройных всадников.

Между тем надвигалась ночь, и Анна, при помощи молчаливого Андро, постлала нам постели в коляске. Я зарылась в подушки и готовилась уже заснуть, как вдруг почувствовала прикосновение чьих-то тоненьких пальчиков к моей руке.

– Нина, – слышался мне тихий шепот, – ах, Нина, не засыпайте, пожалуйста, мне так много надо пого-

ворить с вами!

– Ну, что еще? – высунулась я из-под покрывавшей меня теплой бурки, все еще сердитая на своего двоюродного братца.

– Ради Бога, не засыпайте, Нина! – продолжал умоляющий голос. – Вы на меня сердитесь? – добавил Юлико торопливо.

– Я не люблю лгунишек! – гордо бросила я.

– Я больше не буду... Ниночка, клянусь вам... – горячо залепетал мальчик, – я сам не знаю, что случилось со мною... Мне просто хотелось подурочить глупых девочек... а они оказались умнее, чем я думал! Не сердитесь на меня... Если б вы знали, до чего я несчастлив!

И вдруг самым неожиданным образом мой кузен, этот надменный маленький гордец с манерами маркиза, разрыдался совсем по-детски, вытирая слезы бархатными рукавами своей щегольской курточки.

Вмиг бурка, укутывавшая меня, полетела в угол коляски на колени сладко храпевшей Анны, и я, усевшись подле плакавшего мальчика, гладила его спутанные кудри и говорила задыхающимся шепотом:

– Что ты? что ты? тише, разбудишь Анну... Перестань, Юлико, что с тобою? Ну, я не сержусь на тебя, ну, право же не сержусь! Ах, какой ты...

– Не сердитесь, правда? – спросил он, всхлипывая.

– Я всегда говорю одну только правду! – гордо ответила я. – Да что с тобою? О чем ты плакал?

– Ах, Нина! – порывисто вырвалось у него, – если б вы знали, как мне тяжело, когда вы на меня сердитесь... Сначала я вас не любил... ненавидел... ну, а теперь, когда я вижу, какая вы храбрая, умная, насколько вы лучше меня, я так хотел бы, чтобы вы меня полюбили! Так бы хотел! Вы такая чудная, смелая, вы лучше всех девочек, которых я когда-нибудь видел. Вы заступились за меня сегодня, не дали в обиду этим скверным татарским девчонкам, и я вам никогда этого не забуду. Меня ведь никогда никто не любил! – добавил он с грустью.

– Как? а бабушка? – удивилась я.

– Бабушка... – и Юлико с горькой улыбкой посмотрел на меня. – Бабушка меня совсем не любит. Когда был жив мой старший брат Дато, она и внимания не обращала на меня. Ах, Нина! если б вы знали, что это был за красавец! Какие гордые, прекрасные глаза были у него! И сам он был такой сильный и стройный! Я его очень любил и очень боялся... Он командовал мною, как командуют вельможи своими слугами... И я его слушался, потому что его все слушались – и мать, и бабушка, и слуги... У него был тон и голос настоящего принца. Когда он был жив, обо мне забывали... но когда он умер от какой-то тяжелой грудной болез-

ни, все попечения родных обратились на меня... Дато не стало... остался Юлико, последний представитель нашего рода. Вот почему так полюбила меня бабушка... Поняли вы меня, Нина?

Да, я его поняла, этого бедного маленького князя, и мне было бесконечно жаль его!

– Юлико! – совсем уже ласково обратилась я к нему, – а твоя мама, разве она тебя не любила?

– Моя мама любила Дато... очень любила, а когда Дато умер, мама все грустила и ничего не кушала долго, долго... Потом и она умерла. Но при жизни она редко меня ласкала... Да я и не обижался за это. Я с удовольствием уступал все ее ласки моему чудесному брату. Я так любил его!

– Бедный Юлико! бедный Юлико! – прошептала я и вдруг неожиданно обняла его за тонкую шею и поцеловала в белый, не детски серьезный лоб.

Он весь как-то задохнулся от радости.

– Нина! – заговорил он, чуть не плача, – вы больше не сердитесь на меня? О, я так же буду вас любить за вашу доброту, как любил Дато!.. Ах, Нина! теперь я так счастлив, что у меня есть друг! Так счастлив!.. Хотите, я что-нибудь серьезное большое сделаю для вас? Хотите, я буду прислуживать вам, как прислуживал Дато? буду вашим пажом... а вы будете моей королевой?

Я посмотрела на его воодушевленное лицо, слабо освещенное бледными лучами месяца, и произнесла торжественно и важно:

– Хорошо, будь моим пажом, я буду твоей королевой!

Мы долго еще болтали, пока сон не смежил усталые веки моего пажа, и он уснул, прислонясь к плечу своей королевы.

Я не могла спать. Меня грызло раскаяние за мое прошлое недоброе отношение к Юлико... Бедный мальчик, не видевший до сих пор участия и дружеской ласки, стал мне вдруг жалким и близким. Я обещала мысленно искупить мои злые выходки заботами о бедном, слабом ребенке.

Уже ночь окутала окрестности, когда я уснула. Но мой сон почему-то был тревожен. Это скорее была какая-то тяжелая дремота.

Я проснулась очень скоро и выглянула из коляски. Ночь совсем овладела окрестностями, и туча, застилавшая золотой шар месяца, мешала видеть в двух шагах расстояния. Коляска стояла. Я уже хотела снова залезть под бурку, как слух мой был внезапно прикован тихой татарской речью. Голосов было несколько, в одном из них я узнала Абрека.

Он говорил что-то на кабардинском наречии, которое я едва понимала.

Речь шла о лошади: татары упрашивали Абрека доставить им лошадь князя. Абрек просил за нее много туманов, и они, забыв о спящих в коляске, уговаривали его не скупиться. Тогда, насколько я поняла, Абрек сбавил цену. И они поладили.

– Так через три дня... ждать? – спросил хриплый и грубый голос.

– Через три дня ждите, – обещал Абрек и добавил: – останетесь довольны Абреком... жалко княжну – любит коня; набавь еще, Бекир, два тумана.

Я похолодела... Они говорили о моей лошади, о моем Шалом!.. Абрек обещал выкрасть Шалого и продать его душманам!..

Мне хотелось крикнуть во все горло им – этим верам, что я знаю их замысел и пожалуюсь отцу, что Шалый принадлежит мне и что я ни за что в мире не расстанусь с моим сокровищем. Но я одумалась: ведь он не называл Шалого. Может быть, речь идет о другой лошади, которую хочет продать бабушка и поручила это дело Абреку?.. Но почему тогда Абреку жаль княжну?.. Я путалась в моих мыслях, не допуская, однако, чтобы мой любимец Абрек мог быть предателем. Абрек, охотно выучивший меня джигитовке и лихой езде, Абрек, холивший моего коня, не мог быть вором!.. И успокоившись на этой мысли, я уснула.

На утренней заре следующего дня мы въехали в Го-

ри.

Отец, бабушка, старая Барбале, Михако и хорошенькая Родам встретили нас, довольные нашим возвращением. Я и Юлико наперерыв рассказывали им впечатления по езде.

От глаз старших не укрылись новые отношения мои к Юлико. Молчаливая, восторженная покорность с его стороны и покровительственное дружелюбие с моей не могли не удивить домашних.

– Спасибо, девочка, – поймав меня за руку, сказал отец и поцеловал особенно продолжительно и нежно.

Я поняла, что он благодарит меня за Юлико, и вся вспыхнула от удовольствия.

О ночном разговоре Абрека с татарами я промолчала и только, на всякий случай, решила удвоить мой надзор над моим конем и подозрительным конюхом.



# Глава VII

## Таинственные огоньки. Башня смерти

– Нина, Нина, подите сюда!

Я стояла у розового куста, когда услышала зов моего пажа – Юлико.

Стоял вечер – чудесный, ароматный, на которые так щедр благодатный климат Грузии. Было одиннадцать часов; мы уже собирались спать и на минутку вышли подышать ночной прохладой.

– Да идите же сюда, Нина! – звал меня мой двоюродный брат.

Он стоял на самом краю обрыва и пристально взглядывал по направлению развалин старой крепости.

– Скорее! Скорее!

В один прыжок я очутилась подле Юлико и взглянула туда, куда он указывал рукою. Я увидела действительно что-то странное, из ряда вон выходящее. В одной из башенок давно позабытых, поросших мхом и дикой травой развалин, мелькал огонек. Он то гас, то опять светился неровным желтым пламенем, точно светляк, спрятанный в траве.

В первую минуту я испугалась. «Убежим!» – хотелось мне крикнуть моему двоюродному брату. Но вспомнив, что я королева, а королевы должны быть храбрыми, по крайней мере в присутствии своих пажей, я сдержалась. Да и мой страх начинал проходить и мало-помалу заменяться жгучим любопытством.

– Юлико, – спросила я моего пажа, – как ты думаешь, что бы это могло быть?

– Я думаю, что это злые духи, – без запинки отвечал мальчик.

Я видела, что он весь дрожал, как в лихорадке.

– Какой же ты трус! – откровенно заметила я и добавила уверенно: – Огонек светится из Башни смерти.

– Башни смерти? Почему эта башня называется Башней смерти? – со страхом в голосе спросил он.

Тогда, присев на краю обрыва и не спуская глаз с таинственного огонька, я передала ему следующую историю, которую рассказывала мне Барбалэ.

«Давно-давно, когда мусульмане бросились в Гори и предприняли ужаснейшую резню в его улицах, несколько христианских девушек-грузинок заперлись в крепости в одной из башен. Храбрая и предприимчивая грузинка Тамара Бербуджи вошла последней в башню и остановилась у закрытой двери с острым кинжалом в руках. Дверь была очень узка и могла пропустить только по одному турку. Через несколько вре-

мени девушки услышали, что их осаждают. Дверь задрожала под ударами турецких ятаганов.

– Сдавайтесь! – кричали им враги.

Но Тамара объяснила полумертвым от страха девушкам, что смерть лучше плена, и, когда дверь уступила напору турецкого оружия, она вонзила свой кинжал в первого ворвавшегося воина. Враги перерезали всех девушек своими кривыми саблями, Тамару они заживо схоронили в башне.

До самой смерти слышался ее голос из заточения; своими песнями она прощалась с родиной и жизнью»...

– Значит, этот огонек ее душа, не нашедшая могильного покоя! – с суеверным ужасом решил Юлико и, дико вскрикнув от страха, пустился к дому.

В тот же миг огонек в башне потух...

Вечером, ложась спать, я долго расспрашивала Барбалэ о юной грузинке, умершей в башне. Мое детское любопытство, моя любовь к таинственному были затронуты необычайным явлением. Однако я ничего не сказала Барбалэ о таинственных огоньках в башне и решила хорошенько проследить за ними.

В эту ночь мне плохо спалось... Мне снились какие-то страшные лица в фесках и с кривыми ятаганами в руках. Мне слышались и дикие крики, и стоны, и голос, нежный, как волшебная свирель, голос девуш-

ки, заточенной на смерть...

Несколько вечеров подряд я отправлялась к обрыву в сопровождении моего пажа, которому строго-настрого запретила говорить о появлении света в Башне смерти. Мы садились на краю обрыва и, свесив ноги над бегущей далеко внизу, потемневшей в вечернем сумраке Курой, предавались созерцанию. Случалось, что огонек потухал или переходил с места на место, и мы с ужасом переглядывались с Юлико, но все-таки не уходили с нашего поста.

Любопытство мое было разожжено. Начитавшись средневековых рассказов, которыми изобиловали шкафы моего отца, я жаждала постоянно чего-то фантастического, чудесного. Теперь же благодаря таинственному огоньку мой по-детски пытливый ум нашел себе пищу.

– Юлико, – говорила я ему шепотом, – как ты думаешь: бродит там умершая девушка?

И встретив его глаза, расширенные ужасом, я добавила, охваченная каким-то жгучим, но почти приятным ощущением страха:

– Да, да, бродит и просит могилы.

– Не говорите так, мне страшно, – молил меня Юлико чуть не плача.

– А вдруг она выйдет оттуда, – продолжала я пугать его, чувствуя сама, как трепет ужаса пронизывает ме-

ня всю, – вдруг она перейдет обрыв и утащит нас за собою?

Это было уже слишком. Храбрый паж, забывая об охране королевы, с ревом понесся к дому по каштановой аллее, а за ним, как на крыльях, понеслась и сама королева, испытывая скорее чувство сладкого и острого волнения, нежели испуга...

– Юлико! – сказала я ему как-то, сидя на том же неизменном обрыве и не сводя глаз с таинственно мерцающего огонька, – ты меня очень любишь?

Он посмотрел на меня глазами, в которых было столько преданности, что я не могла ему не поверить.

– Больше Дато? – добавила я только.

– Больше, Нина!

– И сделаешь для меня все, что я ни прикажу?

– Все, Нина, приказывайте! Ведь вы моя королева.

– Хорошо, Юлико, ты добрый товарищ, – и я несколько покровительственно погладила его белокурые локоны. – Так вот завтра в эту пору мы пойдем в Башню смерти.

Он вскинул на меня глаза, в которых отражался ужас, и задрожал как осиновый лист.

– Нет, ни за что, это невозможно! – вырвалось у него.

– Но ведь я буду с тобою!

– Нет, ни за что! – повторил он.

Я смерила его презрительным взглядом.

– Князь Юлико! – гордо отчеканила я. – Отныне вы не будете моим пажом.

Он заплакал, а я, не оглядываясь, пошла к дому.

Не знаю, как мне пришло в голову идти узнавать, что делается в Башне смерти, но раз эта мысль вонзилась в мой мозг, отделаться от нее я уже не могла. Но мне было страшно идти туда одной, и я предложила разделить мой подвиг Юлико. Он отступил, как малодушный трус. Тогда я решила отправиться одна и даже обрадовалась этому, соображая, что вся слава этого «подвига» достанется в таком случае мне одной. В моих мыслях я уже слышала, как грузинские девушки спрашивают своих подруг: «Которая это – Нина Джаваха?» – и как те отвечают: «Да та бесстрашная, которая ходила в Башню смерти». – Или: «Кто эта девочка?» – «Как, вы не знаете? Ведь это – бесстрашная княжна Джаваха, ходившая одна ночью в таинственную башню!»

И произнося мысленно эти фразы, я замирала от восторга удовлетворенной гордости и тщеславия. К Юлико я уже не чувствовала больше прежнего сожаления и симпатии. Он оказывался жалким трусом в моих глазах. Я перестала даже играть с ним в войну и рыцарей, как делала это вскоре по приезде из аула дедушки.

Но заниматься много мыслью о Юлико я не могла. В моей душе созрело решение посетить Башню смерти во что бы то ни стало, и я вся отдалась моим мечтам.

И вот страшная минута настала. Как-то вечером, простясь с отцом и бабушкой, чтобы идти спать, я, вместо того чтобы отправиться в мою комнату, свернула в каштановую аллею и одним духом домчалась до обрыва. Спуститься сквозь колючий кустарник к самому берегу Куры и, пробежав мост, подняться по скользким ступеням, поросшим мхом, к руинам крепости было делом нескольких минут. Сначала издали, потом все ближе и ближе, точно путеводной звездой, мелькал мне приветливо огонек в самом отдаленном углу крепости.

То была Башня смерти...

Я лезла к ней по ее каменистым уступам и странное дело! – почти не испытывала страха. Когда передо мною зачернели в сумерках наступающей ночи высокие, полуразрушенные местами стены, я оглянулась назад. Наш дом покоился сном на том берегу Куры, точно узник, плененный мохнатыми стражниками-чинарами. Нигде не видно было света. Только в кабинете отца горела лампа. «Если я крикну – там меня не услышат», – мелькнуло в моей голове, и на минуту мне сделалось так жутко, что захотелось повернуть назад.

Однако любопытство и любовь к таинственному превозмогли чувство страха, и через минуту я уже храбро пробиралась по узким переулкам крепости к самому ее отдаленному пункту, откуда приветливо мигал огонек.

Вот она – высокая, круглая башенка. Она как-то разом выросла передо мною. Я тихонько толкнула дверь и стала подниматься по шатким ступеням. Я шла бесшумно, чуть касаясь пятками земли и испуганно прислушиваясь к малейшему шороху.

И вот я у цели. Прямо передо мною дверь, сквозь трещину которой проникала узкая полоса света.

Осторожно прижавшись к сырой и скользкой от моха и плесени стене, я приложила глаз к дверям щели и чуть не вскрикнула во весь голос.

Вместо мертвой девушки, вместо призрака гористой красавицы я увидела трех сидевших на полу горцев, которые при свете ручного фонаря рассматривали куски каких-то тканей. Они говорили тихим шепотом. Двоих из них я разглядела. У них были бородастые лица и рваные осетинские одежды. Третий сидел ко мне спиной и перебирал в руках крупные зерна великолепного жемчужного ожерелья. Тут же рядом лежали богатые, золотом расшитые седла, драгоценные уздечки и нарядные, камнями осыпанные дагестанские кинжалы.



– Так не уступишь больше за штучку? – спросил один из сидящих того, который был ко мне спиной.

– Ни одного тумана.

– А лошадь?

– Лошадь будет завтра.

– Ну, делать нечего, получай десять туманов, и ай-да!

И, говоря это, черноусый горец передал товарищу несколько золотых монет, ярко блеснувших при свете фонаря. Голос говорившего показался мне знакомым.

В ту же минуту третий горец вскочил на ноги и повернулся лицом к двери. Вмиг узнала я его. Это был Абрек.

Этого я не ожидала!..

Предо мною совершалась неслыханно дерзкая мошенническая сделка.

Очевидно, это были душманы, горные разбойники, не брезгавшие и простыми кражами. Абрек, без сомнения, играл между ними не последнюю роль. Он поставлял им краденые вещи и продавал их в этой комнате Башни смерти, чудесно укрытой от любопытных глаз.

Все эти соображения вихрем пронеслись в моей пылавшей голове.

– Слушай, юноша, – произнес в эту минуту другой татарин с седой головою, – завтра последний срок, ес-

ли не доставишь коня – берегись... Гоги не в раю Магомета, и мой кинжал достанет до тебя.

– Слушай, старик: слово правоверного так же непоколебимо, как и закон Аллаха. Берегись оскорблять меня. Ведь и мой тюфенк (винтовка) бьет без промаха.

И обменявшись этим запасом любезностей, они направились к выходу.

Дверь скрипнула. Фонарь потух. Я прижалась к стене, боясь быть замеченной. Когда они прошли мимо меня – я стала оцупью впотьмах слезать с лестницы. У нижней двери я помедлила. Три фигуры неслышно скользнули по крепостной площади, носившей следы запустения более, чем другие места в этом мертвом царстве.

Двое из горцев исчезли за стеною с той стороны, где крепость примыкает к горам, третий, в котором было не трудно узнать Абрека, направился к мосту.

Я догнала его только у обрыва, куда он вскарабкался с ловкостью кошки, и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, схватила его за рукав бешмета.

– Абрек, я все знаю! – сказала я.

Он вздрогнул от неожиданности и схватился за рукоятку кинжала. Потом, узнав во мне дочь своего господина, он опустил руку и спросил немного дрожащим голосом:

– Что угодно княжне?

– Я все знаю, – повторила я глухо, – слышишь ты это? Я была в Башне смерти и видела краденые вещи и слышала уговор увести одну из лошадей моего отца. Завтра же весь дом узнает обо всем. Это так же верно, как я ношу имя княжны Нины Джаваха...

Абрек вскинул на меня глаза, в которых сквозил целый ад злобы, бессильной злобы и гнева, но сдержался и проговорил возможно спокойнее:

– Не было случая, чтобы мужчина и горец побоялся угроз грузинской девочки!

– Однако эти угрозы сбудутся, Абрек: завтра же я буду говорить с отцом.

– О чем? – дерзко спросил он меня, нервно пощипывая рукав бешмета.

– Обо всем, что слышала и видела и сегодня и в ту ночь в горах, когда ты уговаривался с этими же душманами.

– Тебе не поверят, – дерзко засмеялся горец, – госпожа княгиня знает Абрека, знает, что Абрек верный нукер, и не выдаст его полиции по глупой выдумке ребенка.

– Ну, посмотрим! – угрожающе проговорила я.

Вероятно, по моему тону горец понял, что я не шушу, потому что круто переменял тон речи.

– Княжна, – начал он вкрадливо, – зачем ссоришься

с Абреком? Или забыла, как Абрек ухаживал за твоим Шалым? как учил тебя джигитовке?.. А теперь я узнал в горах такие места, такие!.. – и он даже прищелкнул языком и сверкнул своими восточными глазами. – Лань, газель не проберется, а мы проскочим! Трава – изумруд, потоки из серебра... туры бродят... А сверху орлы... Хочешь, завтра поскачем? Хочешь? – и он заглядывал мне в глаза и вкладывал необычайную нежность в нотки своего грубого голоса.

– Нет, нет! – твердила я, затыкая уши, чтобы помимо воли не соблазниться его речами, – я не поеду с тобой никуда больше. Ты душман, разбойник, и завтра же я все расскажу отцу...

– А-а! – дико, по-азиатски взвизгнул он, – берегись, княжна! Плохи шутки с Абреком. Так отомстит Абрек, что всколыхнутся горы и застынут реки. Берегись! – и еще раз гикнув, он скрылся в кустах.

Я стояла ошеломленная, взволнованная, не зная, что предпринять, на что решиться...

## Глава VIII

# Обличительница

Утром я была разбужена отчаянными криками и суматохой в доме. Я плохо спала эту ночь. Меня преследовали страшные сновидения, и только на заре я забылась...

Разбуженная криками и шумом, еще вся под влиянием вчерашних ужасов, я не могла долго понять – сплю я или нет. Но крики делались все громче и яснее. В них выделялся голос старой княгини, пронзительный и резкий, каким я привыкла его слышать в минуту гнева.

– Вай-ме, – кричала бабушка, – украли мое старинное драгоценное ожерелье! Вай-ме! его украли из-под замка, и кольца, и серьги – все украли. Вчера еще они были в шкатулке. Мы с Родам перебирали их. А сегодня их нет! Украли! вай-ме, украли!

Я быстро оделась... Выйдя из моей комнаты, я столкнулась с отцом.

– Покража в доме. Какая гадость! – сказал он и по обыкновению передернул плечами.

Потом он прошел в кабинет, и я слышала, как он отдавал приказание Михако немедленно скакать в Гори и дать знать полиции обо всем случившемся.

Прибежала Родам и с плачем упала в ноги отцу.

– Батоно-князь! – кричала она, вся извиваясь в судорожных рыданиях, – я хранила бриллианты княгини, я и моя тетка, старая Анна. Нас обвиняют в воровстве и посадят в тюрьму. Батоно-князь! я не крада, я не виновата, клянусь св. Ниной – просветительницей Грузии!

Да, она не крада. Это видно было по ее прекрасным глазам, честным и ясным, как у ребенка. Она не могла, хорошенькая Родам, украсть бриллианты моей бабушки.

Ни она, ни Анна...

Но кто же вор в таком случае?

И вдруг острая, как кинжал, мысль прорезала мой мозг:

«Вор – Абрек!»

Да, да, вор – Абрек! В этом не было сомнения. Он украл бриллианты бабушки. Я видела драгоценные нити жемчуга и камней в Башне смерти. Я присутствовала при его позорном торге. И быстро обняв плачущую Родам, я воскликнула:

– Утри свои слезы! Я знаю и назову вора... Папа, папа, вели созвать людей в залу, только скорее, скорее, ради Бога.

– Что с тобой, Нина? – удивился моему возбуждению отец.

Но я вся горела от нетерпения. С моих губ срывались бессвязные рассказы о Башне смерти, о драгоценностях, о двух душманах и Абреке-предателе, но все так скоро и непонятно, точно в бреду.

– Иди, Родам, прикажи всем людям собраться в зале, – приказал отец.

Когда она вышла, он запер дверь за нею.

– Ну, Нина-радость, чеми-патара, – ласково произнес он, – расскажи мне все по порядку толково, что случилось?

И он усадил меня на колени, как сажал в детстве, и старался успокоить меня насколько мог.

Я в какие-нибудь пять минут поведала ему все, захлебываясь и торопясь от волнения.

– И ты уверена, что это тебе не приснилось? – спросил отец.

– Приснилось? – пылко вырвалось у меня, – приснилось? Но если ты не веришь мне, спроси Юлико, он тоже видел огоньки в башне и следил за ними.

– Юлико дурно. Он заболел от испуга. Но если бы даже он был здоров, я не обратился бы к нему. Я верю моей девочке больше, чем кому-либо другому.

– Спасибо, папа! – ответила я ему и об руку с ним вошла в залу.

Там собрались все люди, за исключением Михако, ускокавшего в Гори.

Я взглянула на Абрека. Он был блее своего белого бешмета.

– Абрек! – смело подошла я к нему. – Ты украл вещи бабушки! Слышишь, я не боюсь твоих угроз и твоего мщения и повторяю тебе, что ты вор!

– Княжна шутит, – криво усмехнулся горец и незаметно подо двинулся к двери.

Но отец поймал его движение и, схватив за плечо, поставил его прямо перед собою. Лицо отца горело. Глаза метали искры. Я не узнавала моего спокойного, всегда сдержанного отца. В нем проснулся один из тех ужасных порывов гнева, которые делали его неузнаваемым.

– Молчать! – прогремел он так, что, казалось, задрожали своды нашего дома, и все присутствующие в страхе переглянулись между собой. – Молчать, говорят тебе! Всякое заpiresательство только увеличит вину. Куда дел ты фамильные драгоценности княгини?

– Я не брал их, батоно-князь. Аллах знает, что не брал.

– Ты лжешь, Абрек! – выступила я снова. – Я видела у тебя в башне много драгоценных вещей, но ты все их передал тем двум душманам, и они отнесли все в горы.

– Назови мне сейчас же имена твоих сообщников, укажи место, где они скрываются! – снова проговорил



отец.

– Не знаю, батоно-князь, никаких душманов. Верно, княжне привиделся дурной сон про Абрека. Не верь, батоно, ребенку.

Но слова горца, очевидно, истожили последнее терпение отца. Он сорвал со стены нагайку и взмахнул ею. Раздался пронзительный крик. Вслед за этим, прежде чем кто-либо успел опомниться, в руках Абрека что-то блеснуло. Он бросился на отца с поднятым кинжалом, но в ту же минуту сильные руки Брагима схватили его сзади.

– Потише, орленок, не доросли еще крылья! – крикнул с недобрый смехом Брагим, закручивая на спине руки Абреку.

Тот дрожал с головы до ног, его глаза горели бешенством, багрово-красный рубец – след нагайки – бороздил щеку.

В ту же минуту дверь широко распахнулась и полиция, предшествуемая Михако, вошла в зал.

При виде вооруженных людей Абрек сделал невероятное усилие и, вырвавшись из сильных рук Брагима, бросился к окну. С быстротой молнии вскочил он на подоконник и, крикнув «айда», спрыгнул вниз, с высоты нескольких саженей прямо в тихо плещущие волны Куры...

Это был отчаянно-смелый прыжок, которому мог бы

позавидовать любой джигит Кавказа...

Я долго не могла забыть стройную фигуру разбойника-горца, стоящую на подоконнике, его дикий взгляд и короткую, полную злобной ненависти фразу: «Еще свидимся – тогда попомните душмана Абрека!» К кому относилась эта угроза – ко мне ли, за то, что я выдала его, или к моему отцу, оскорбившему вольного сына гор ударом нагайки, – я не знаю. Но его взгляд скользнул по нас обоим, и невольно опустились мои глаза, встретив его сверкающие бешеным огнем зрачки, а сердце мое болезненно сжалось предчувствием и страхом.

– Исчез мошенник, – сказал отец, подойдя к окну и вперив глаза в пространство.

– Отчаянный прыжок, – сказал старый военный пристав, друг отца, – этот негодяй, должно быть, разбился на смерть.

– Нет, я уверен, что бездельник остался жив, он ловок, как кошка, – ответил отец и, в несколько приемов разломав свою казацкую нагайку, отшвырнул ее далеко в сторону.

– Молодец, барышня, – обратился ко мне пристав. – Не ожидал от вас такой прыти.

– Да, она у меня храбрая! – ласково скользнул по мне взглядом отец и потом, с серьезным лицом, взял мою руку и поцеловал ее, как у взрослой.

Я была в восторге. Мне казалось, что поцелуй такого героя, такого бесстрашного джигита, каким я считала отца, должен превратить мою нежную детскую руку в сильную и твердую, как у воина.

Ликуя и беснуясь, я вихрем помчалась к Юлико – рассказать ему о случившемся. Он лежал бледный, как труп, в своей нарядной постельке и, увидя меня, протянул мне руки. Андро успел его предупредить обо всем, и теперь глаза его выражали неподдельное восхищение перед моим геройством.

– О, Нина! – мог только выговорить он, – если у престола Бога есть Ангелы-воители, вы будете между нами!

Не могу сказать, чтобы восторженный лепет моего кузена я пропустила мимо ушей. Напротив, я готова была теперь простить ему его вчерашнюю трусость.

– Уйди, Андро! – приказала я мальчику.

Как только маленький слуга вышел, я рассказала Юлико все, что случилось со мною.

– Вы настоящая героиня! – прошептал мой двоюродный брат. – Как жаль, что вы не родились мальчиком!

– Это ничего не значит, – спокойно возразила я, и вдруг совершенно безжалостно добавила: – ведь между мальчиками найдется и не одна такая тряпка, как ты.

Но когда я увидела, как он беспокойно заметался в своей постельке среди подушек, украшенных тончайшими кружевами и княжескими гербами, я словно спохватилась и сказала:

– Успокойся, Юлико, ведь я понимаю, что твоя робость происходит от болезненности, и уверена, что она пройдет с годами.

– Да, да, она пройдет, наверное, пройдет, только вы не презирайте меня, Нина. О, я вырасту и буду храбрым. Я пойду в горы, найду Абрека, если он не погиб в реке, и убью его из винтовки дяди. Вы увидите, что я это исполню... Только это будет не скоро!

Потом он тихо прибавил:

– Как бы мне хотелось, чтобы вы снова возвратили мне звание пажа. Я постараюсь быть храбрым насколько могу!

Я посмотрела в его глаза. В них были слезы. Тогда, жалея его, я сказала торжественно:

– Князь Юлико! Возвращаю вам звание пажа вашей королевы.

И дав ему поцеловать мою руку, я с подобающей важностью вышла из комнаты.

... ..

Проходили дни, недели – фамильных бриллиантов бабушки так и не нашли, хотя подняли на ноги всю полицию Гори. Не нашли и Абрека, хотя искали его

усердно. Он исчез, как исчезает камень, брошенный в воду.

Таинственные огоньки, мерцавшие по вечерам в Башне смерти и пленявшие меня своей таинственностью, также исчезли. Там снова воцарилась прежняя тьма...

## Глава IX

### Пир. Демон. Подслушанная тайна

Наступил июль, пышный и знойный, с ароматом подспевших плодов и частыми ночными грозами, разрезающими воздух, насыщенный электричеством.

В нашем винограднике зрели и наливались изумрудные лозы. Ягоды, наполненные соком, горевшим янтарем на солнце под тонкой пленкой кожицы, манили к себе уже одним своим видом.

Приближался день рождения отца, который всегда особенно праздновался у нас в доме.

Приехал дедушка Магомет из аула, примчались Бэлла с мужем на своих горных скакунах, и дом огласился веселыми звуками их голосов и смеха. Только двое людей не принимали участия в общем веселье. Бабушка, которая не могла примириться с мыслью о пропаже драгоценностей, и князек Юлико, захваченный недугом, от которого он таял не по дням, а по часам, приводя этим бабушку в новое волнение.

Наш дом разделился на две половины: печальную – в апартаментах княгини, которая поминутно заходила в комнату Юлико, надоедая ему вопросами и микстурами, и беспечную – где слышался веселый смех Бэллы, ее пронзительные взвизгивания, которым я

вторила с особенным наслаждением, да детски-добродушный хохот Израила. Там были тоска и дума, здесь – беззаботное веселье и смех. Часто к нам присоединялся отец, и тогда нашему веселью не было конца.

– Тише! – иногда останавливал он Бэллу, – там больной.

– Он выздоровеет, – отвечала она беспечно, – и будет еще джигитовать, вот увидишь!

В день рождения отца мы вскочили спозаранку с Бэллой и украсили наш дом венками из каштановых ветвей и лип попеременно с белыми и пурпуровыми розами.

– Как хорошо! – прыгали мы и хлопали в ладоши, любясь своей работой.

Отец, тронутый сюрпризом, расцеловал нас обеих. К обеду ожидали гостей. Бабушка приказала мне надеть белое кисейное платье и собственноручно пригладила мои черные, в беспорядке разбросанные вдоль спины, косы.

– Разве так не лучше, девочка? – спросила она и подвела меня к зеркалу.

Я заметила, что с некоторых пор бабушка относилась много ласковее и добрее ко мне. Я заглянула в зеркало и ахнула.

В белом платье, воздушном облаке окутывающем

мои худенькие плечи, руки и стан, с туго заплетенными иссиня-черными косами, я страшно походила на мою покойную маму.

– Красоточка, джаным, хорошенькая! – бросилась ко мне на шею Бэлла, когда я вышла к моим друзьям. Потом она сорвала с куста розу и воткнула мне ее в косы со словами: – Так будет еще краше.

Отец взглянул на меня с грустной улыбкой и сказал:

– Совсем большая выросла! совсем большая!

– И глупая! правда, папочка, глупая? – приставала я к нему, тормоша его и хохоча, как безумная.

– Ну и глупая! – улыбнулся он, и сейчас же лицо его стало снова серьезным. – Надо будет эту зиму начать серьезно учиться, Нина. Тебе одиннадцать лет.

Я заявила ему, что я отлично читаю по-русски и по-французски, знаю историю и географию, словом, учительница довольна мною, и мое время еще не ушло.

– Ведь Бэлла не ученая, а как она счастлива, – добавила я серьезно, тоном взрослой.

– Бэлла дикарка, она выросла в горах и всю жизнь проживет так, – сказал отец и стал подробно объяснять мне разницу между мной и Бэллой.

Но в этот день я была не менее дикая, нежели она, – я и хохотала и визжала, как безумная, бегая с нею от преследовавшего нас Израила. Я вполне



оправдывала название «дели акыз»,<sup>9</sup> данное мне горийскими татарчатами.

Отец, куря папиросу, сидел на террасе в ожидании гостей. Вдруг он неожиданно вздрогнул. Послышался шум колес, и к нашему дому подъехал небольшой шарабанчик, в котором сидели две дамы: одна пожилая, другая молоденькая в белом платье – нежное белокурое создание с мечтательными глазами и тоненькой, как стебель, талией. Она легко выпрыгнула из шарабана и, ловко подобрав шлейф своего нарядного шелкового платья, пошла навстречу отцу. Он подал ей руку и поманил меня.

– Вот, баронесса, моя дочь Нина. Прошу любить и жаловать.

Потом он помог пожилой женщине с величественной осанкой выйти из экипажа и тоже представил меня ей:

– Моя дочь Нина.

Я не знала, что делать, и смотрела на них обеих с любопытством маленького зверька.

– Какая прелестная девочка, – проговорила молодая дама в белом и, нагнувшись ко мне, поцеловала меня в щеку.

Губы у нее были мягкие, розовые, и от всей ее фигурки, эфирной и хрупкой, пахло очень нежными и

---

<sup>9</sup> Дели-акыз – сумасшедшая девчонка по-татарски.

очень приятными духами.

– Будем друзьями! – проговорила она мне и ласково еще раз улыбнулась.

– У-у! какая красавица! – прошептала Бэлла, когда молодая дама в белом скрылась в доме вместе со своей старой спутницею и отцом, – лучше нас с тобою, правда, Израил?

Но Израил не согласился с нею. Лучше Бэллы, по его мнению, никого не было на свете. Она погрозила ему пальцем, и снова мы пустились бегать и визжать, забыв о прибывших гостях.

Хотя отец мой много лет состоял на службе русского царя и в нашем доме все было на русскую ногу, но по торжественным семейным праздникам у нас невольно возвращались к старым грузинским обычаям. Неизменный обед с выбором тулунгуши,<sup>32</sup> бочки вина, поставленные под чинарами, шумные тосты, порою сазандары, нанятые на время пира, удалая джигитовка, стрельба из ружей и, наконец, милая родная лезгинка под стон зурны и жалобные струны чиунгури – все это сопровождало каждое семейное торжество. В этот день праздник обещал быть особенно интересным.

Из полка ожидались товарищи отца с их женами и другие гости. Мне было как-то неловко: по свойствен-

---

<sup>32</sup> Тулунгуши – распорядитель пира.

ной мне дикости, я не любила общества, и вот почему Бэлле много надо было труда, чтобы уговорить меня выйти к столу, приготовленному на вольном воздухе в тени вековых лип и густолиственных чинар.

Когда мы вышли к гостям, все уже были в сборе. Бабушка торжественно восседала на почетном месте в конце стола; против нее, на другом конце стола, поместился избранный тулунгуши – в лице дедушки Магомета. Справа от бабушки сидела баронесса, а подле нее молодая дама в белом, около которой поместился мой отец. Появление Бэллы и Израила в богатых туземных нарядах, блестящих красками и серебром, произвело легкое смятение между гостями. Их встретили шепотом одобрения. Дедушка Магомет не мог не порадоваться тому приему, который сделали его детям.

– Какая чудесная пара! – слышалось кругом на татарском, русском и грузинском языке.

И Бэлла принимала все эти похвалы как должную дань.

Она скоро привыкла к своей новой роли, эта маленькая княгиня!

Анна, Барбале и Родам разносили куски жареной баранины и дичи, а Михако, Андро и Брагим разливали вино по кувшинам и обносили ими гостей, причем Михако не упускал случая подшутить над старым му-

сульманином, которому вино было запрещено Кораном.

Я сидела между Бэллой и молоденьким казачьим хорунжием, подчиненным отца, который весь обед смешил нас, забавляя самыми невероятными рассказами.

Мы так и покатывались со смеху, слушая его. Бабушка приходила в ужас от моего громкого смеха и делала мне отчаянные знаки успокоиться.

Между тем дедушка Магомет поднял заздравный кубок в честь моего отца и стал славить его по старому кавказскому обычаю. Он сравнивал его силу с силой горного орла Дагестана, его смелость – со смелостью ангела-меченосца, его красоту и породу – с красотой горного оленя, царя гор.

И мой отец слушал, и все слушали в глубоком молчании маститого старца, видевшего на своем веку много храбрых.

Потом, когда он кончил, все подняли бокалы в честь моего отца. Мне было дивно хорошо в эту минуту. Я готова была прыгать и смеяться и целовать деда Магомета за то, что он так хвалит моего умного, доброго, прекрасного папу!

После каждого блюда, заедаемого по обыкновению лавашами и чади<sup>33</sup> или солонварным вкусным кве-

---

<sup>33</sup> Чади – густая каша кусками вместо хлеба.

ли, деда поднимался с места и с полной чашей в руке восхвалял того или другого гостя. Вина как верующий магометанин он не пил, и каждый раз передавал свой кубок кому-либо из почетнейших гостей.

Восхваление присутствующих шло по очереди. После блюда вкусного шашлыка, мастерски приготовленного Барбале, дедушка поднял чашу в честь Бэллы, называя ее княгиней Израил. Он обращался к ней немного напыщенно и важно, точно к совершенно посторонней. Бэлла, потупясь смотрела в тарелку. Я же, прикрыв лицо концом скатерти, еле сдерживалась, чтобы не фыркнуть на весь стол. Верно глаза мои красноречиво смеялись, потому что бабушка не менее красноречиво погрозила мне пальцем через весь стол.

Очередь дошла, наконец, до меня.

Дедушка поднялся еще раз с полной чашей вкусной сладковатой влаги и, вперив в меня любящий, ласковый взгляд, произнес торжественно и нежно:

– Много на небе Аллаха восходящих вечерних звезд, но они не сравнятся с золотым солнцем. Много в Дагестанских аулах чернооких дочерей, но красота их потускнеет при появлении грузинской девушки. Немного лет осталось им красоваться! Она придет и – улыбнется восточное небо. Черные звезды – глаза ее. пышные розы – ее щечки. Темная ночь – кудри ее.

Хвала дочери храброго князя! Хвала маленькой княжне Нине Джаваха-оглы-Джамата, моей внучке!

Дедушка кончил. А я сидела как зачарованная. Ко мне относилось это восхваление, точно к настоящей взрослой девушке. Моя радость не имела предела. Если б не гости, я бы запрыгала, завизжала на весь дом и выкинула что-нибудь такое, за что бы меня наверное выгнала из-за стола строгая бабушка. Но я сдержала себя, степенно встала и не менее степенно поблагодарила милого тулунгуши:

– Спасибо на добром слове, дедушка Магомет!

И все – и гости, и родные, и мой милый отец не могли не улыбнуться ласковой улыбкой маленькой девочке, игравшей во взрослую.

После обеда тот же молоденький хорунжий начал рассказывать, как он приехал на диком горном скакуне, не подпуская к себе никого другого.

Эта лошадь была его гордостью. Он прозвал ее Демоном за ее отчаянную злую непобедимость.

– Удивительный конь! – говорил хорунжий. – Мне привел его в подарок один горец. Он поймал его арканом в ту минуту, когда он со своим диким табуном носился по Долине. Мне стоило много труда объездить и усмирить его. И он стал покорен мне, как своему победителю, но только мне одному и никому больше. Остальных он не подпускает к себе. Два наших офи-

цера чуть было не поплатились жизнью, когда вздумали обуздать моего Демона...

– Вздор! – воскликнул мой отец. – Послушай, Врельский, ты позволишь мне попробовать объездить лошадь?

– Это безумие, князь, рисковать таким образом, – попробовал уговорить хорунжий.

– Прикажи привести коня!

– Князь Джаваха, зачем рисковать по-пустому, – пробовал протестовать молодой казак.

– Господин хорунжий, повинуйтесь вашему командиру! – притворно-строго приказал отец.

– Слушаю-с, господин начальник! – и, сделав по-военному поворот налево кругом, хорунжий пошел исполнять приказание отца.

Все гости столпились вокруг последнего. В полку знали Демона – лошадь Врельского, – и действительно никто еще не отваживался проскакать на нем. Все поэтому боялись, что затея моего папы может окончиться печально. Молодая баронесса подняла на отца умоляющие глазки и тихо просила его изменить его решение. Только взоры дедушки Магомета да юных Израила и Бэллы разгорались все ярче и ярче в ожидании отчаянно-смелого поступка отца.

К крыльцу подвели Демона.

Темно-вороной масти, с дрожащими, красными,

точно огнедышащими ноздрями, с черными глазами, сыплющими искры, весь дрожащий с головы до ног, он вполне оправдывал свое название. Два казака-мингрельца еле сдерживали его.

Отец смело направился к коню и взял повод. Демон задрожал сильнее. Его карий глаз косился на человека. Весь его вид не предвещал ничего хорошего. Отец встал перед самыми его глазами, и смотрел на него с минуту. Потом неожиданно занес ногу и очутился в седле. Демон захрапел и ударил задними ногами. Мингрельцы выпустили повод и бросились в разные стороны. В ту же секунду конь издал страшное ржание и, сделав отчаянный скачок, сломя голову понесся по круче вниз, в долину.

Два вопля потрясли воздух. Один вырвался из моей груди, другой из груди молодой баронессы.

– Он убьет его, он убьет его! – шептала она, закрывая глаза, и судорожно билась на груди своей матери.

Я не билась и не плакала. Но вся моя жизнь перешла в зрение. Я не спускала глаз со скачущего по долине всадника на беснующемся диком коне, и что-то стонало и ныло внутри меня.

«Святая Нина! Пречистая просветительница Грузии! Спаси его! Сохрани его! Возврати мне его целым и невредимым!» – шептали мои побелевшие губы.

– Иокши, славно, девчурка! Умешь быть настоя-



щей джигиткой, – услышала я подле голос дедушки Магомета.

Но на этот раз его похвала прошла незамеченной. Я была в ту минуту олицетворением молитвы и страха за моего дорогого, любимого папу.

Но вот показалось белое облачко пыли. Вот оно ближе, яснее... Вот уже виден синий с золотым шитьем казачий кафтан отца... Он едет ровным, растяжным галопом... Вот уже можно различить коня и всадника... Еще немного – и он здесь, он рядом!

Его лицо бледно и весело, хотя следы утомления видны на нем. Но что случилось с Демоном? Он весь покрыт белой пеной... Его дыхание тяжело и прерывисто. Глаза, гордые глаза непобедимого, дикого скакуна, полны вымученного смирения. Мой смелый отец усмирил его.

– Bravo, bravo, князь Георгий! Молодец, батоно! Смелый, ага! – кричали и русские офицеры и наши дагестанские друзья.

– Папа! – могла только выговорить я.

Он обнял меня одной рукой, а другую протянул баронессе, словно ожившей при его возвращении.

О, как я гордилась им – моим героем отцом!..

А между тем уже из дому неслись звуки чиунгури и зурны, призывающие гостей к лезгинке, начинающей каждый бал в домах Грузии. Им вторил потихоньку во-

енный оркестр, приехавший из Гори к своему командиру. Изредка раздавались выстрелы винтовок: это Михако салютовал отцу.

Когда все пошли в дом, я осталась на балконе. Мне так много хотелось сказать папе, я так переволновалась за него и так восхищалась им, что не могла утаить в себе всех моих разнородных ощущений. Но он пошел в дом, предложив руку молодой баронессе и как бы позабыв обо мне.

– Маленькая княжна, первую кадрили со мною, – услышала я веселый оклик хорунжия Врельского.

– Нет, ступайте, я не хочу танцевать! – произнесла я полупечально, полусердито.

– Но ведь папа вернулся здоровым и невредимым, – не отставал офицер, – почему бы и вам не поплясать немножко? Или вы боитесь бабушки?

О, это было уже слишком!

Я сверкнула глазами в его сторону и твердо произнесла:

– О, я не боюсь никого в мире! Но танцевать я не желаю!

Он посмотрел с недоумением на маленькую злую девочку и, пожав плечами, присоединился к гостям...

Из залы неслись звуки лезгинки. Я видела из моего темного угла, как мелькали алые рукава бешметов: это Бэлла плясала свой национальный танец с князем

Израилом. Но я не пошла туда, откуда неслись призывные и веселые звуки чиунгури и звенящие колокольчики бубна. Я осталась на балконе, пытливо вглядываясь в кусты пурпуровых роз, казавшихся совсем черными при бледном сиянии месяца.

Вдруг раздался скрип двери, звон шпор, еле уловимый, как дыхание, шелест платья и... все смолкло.

На балкон вошла юная баронесса в сопровождении моего отца. Я хотела скрыться, но какое-то жгучее любопытство приковало меня к месту. Баронесса опиралась на руку папы и смотрела в небо. Она казалась еще белее, еще воздушнее при лунном свете.

– Итак, вы вручаете мне свою судьбу, – ласковым шепотом произнес отец.

– Я верю и сознаю, что не легко вам будет это. Особенно трудно вам будет поладить с Ниной и стать для моей девочки второй матерью. Нина – дикий цветок. Привить его к чужой почве будет трудно. Но с вашим умением, с вашей мудрой головкой вы добьетесь ее любви, я в этом уверен. А раз она полюбит, то делается мягкой, как воск. Она добрая девочка. У нее настоящее южное отзывчивое и преданное сердечко.

– Зачем вы мне все это говорите, князь... Я уже люблю Нину, как родную дочь.

– Спасибо вам за это, Лиза! Я уверен, что моя дочурка полюбит свою новую маму.

Я видела ясно, как, говоря это, отец склонился в руке баронессы.

– Она уже знает о нашей свадьбе? – помолчав, спросила баронесса.

Я не слышала, что ответил на это отец, потому что в ушах моих что-то шумело, звенело и кричало на несколько ладов. Я плохо сознавала: были ли то звуки доносившейся из зала лезгинки, или то билась и клокотала в мозгу разгоряченная кровь...

Яркой огненной полосой пронизывала меня мысль: «Мой отец женится, у меня будет новая мама!» Эта мысль показалась мне ужасной, невыносимой...

– Нет, нет, я этого не переживу...

Я готова была крикнуть: «Я не желаю новой мамы, не желаю иметь мачеху!»

Однако у меня хватило мужества скрыть мое волнение пока они не ушли.

Но лишь только дверь скрипнула за ними, я с ловкостью кошки бросилась в сад, обежала его кругом, очутилась во дворе и по черному ходу пробралась в самую дальнюю комнату. Сюда смутно долетали звуки военной музыки, сменившей родную чиунгури. Лучи месяца слабо проникали через кисейные занавески окна. В углу стояла тахта. Я бросилась на нее, билась головою о ее подушки, стучала ногами по ее ат-

ласным валикам и задыхалась от рыданий. Мне казалось, что произошло что-то особенное, отчего должен рушиться потолок, должны раздвинуться стены...

Но ничего этого не случилось... Только близко около меня послышался стон.

Я вздрогнула от испуга...

Стон повторился... Нет, не стон, а нежный голос, похожий на шелест ветерка:

– Нина!

Тогда я поняла, что меня звал Юлико, лежавший в соседней комнате. И странное дело, мои страдания как-то разом стихли. Я почувствовала, что там, за стеною, были более сильные страдания, более тяжелые муки, нежели мои. Юлико терпеливо лежал, как и всегда с тех пор, как упал, подкошенный недугом. До него, вероятно, долетали звуки пира и музыки и веселый говор гостей. Но о нем позабыли. Я сама теперь только вспомнила, что еще накануне обещала принести ему фруктов и конфект от обеда. Обещала и... позабыла...

Вся красная и смущенная за мою оплошность, перешагнула я порог его комнаты.

Лучи месяца серебрили его белокурую головку. Он казался бледнее и меньше среди своих белых подушек, при мерцающем полусвете наступающей ночи.

– Тебе хуже, Юлико? – спросила я, на цыпочках

приближаясь к нему.

– Мне хорошо, – сказал он, – я только хотел вас видеть.

– Сейчас я сбегу вниз и принесу тебе орехов и шербета. Хочешь?

– Нет, кузина... я не хочу сладкого... а если вы мне принесете кусочек мяса, то буду вам очень, очень благодарен!

– Мяса? – удивилась я.

– Да... или немного чади! я очень голоден... я целый день не ел сегодня.

Мое сердце сжалось от боли. Боже мой, о нем позабыли!

Бедный Юлико! Бедный маленький княжич, голодающий на своей роскошной постели, покрытой гербами своего великого рода!

О нем позабыли!.. Слезы жалости жгли мне глаза, когда я сбежала вниз, громко крича перепуганной Барбале, чтобы отнесли обед маленькому князю. Когда я вернулась в сопровождении Андро, несшего тарелки с жарким и супом, Юлико казался взволнованным.

– Андро, – приказал он своему слуге, – поставь все это и иди... Мне больше ничего не надо.

Как только Андро вышел, он схватил мои руки и залепетал тревожно:

– Ради Бога, никому не проговоритесь, Нина, ради

Бога! А то бабушка рассердится на Родам и Анну, что они забыли накормить меня сегодня, и их, пожалуй, прогонит из дому!

Он ли говорил это? Какая перемена случилась с моим двоюродным братом? Он ли это, поминутно жаловавшийся на меня то отцу, то бабушке за мои проделки?

Я его просто не узнавала!

– Что с тобой, Юлико, – вырвалось у меня, – почему ты стал таким добрым?

– Ах, не знаю, – возразил он тоскливо, – но мне хочется быть добрым и прощать всем и любить всех! Когда я лежал голодный сегодня, у меня было так светло на душе. Я чувствовал, что страдаю безвинно и мне было чудно хорошо! Мне казалось временами, что я слышу голос Дато, который хвалит меня! И я был счастлив, очень счастлив, Нина!

– А я так очень несчастна, страшно несчастна, Юлико! – вырвалось у меня, и вдруг я разрыдалась совсем по-детски, зажимая глаза кулаками, с воплями и стонами, заглушаемыми подушкой. Я упала на изголовье больного и рыдала так, что, казалось, грудь моя разорвется и вся моя жизнь выльется в этих слезах. Плача, стеновая и всхлипывая, я рассказала ему, что папа намерен жениться, но что я не хочу иметь новую маму, что я могу любить только мою покойную деду и т. д.,

и т. д.

Он слушал меня, упираясь локтем на подушки и поглаживая тонкими высохшими ручками мои волосы.

– Нина, Нина, бедная Нина! Если б ты знала, как мне жаль тебя!

Тебя!

Он говорил мне ты, как равный, и это меня ничуть не оскорбляло.

Тут не было пажа и королевы, тут были две маленькие души, страдающие каждая по-своему...

Когда мои рыдания затихли, Юлико погладил меня по щеке и ласково произнес:

– Ну вот, ты успокоилась. Я буду говорить тебе ты, потому что люблю тебя, как Дато, а Дато я говорил ты.

– Говори мне ты, – разрешила я и потом жалобно добавила с полными слез глазами: – и люби меня, пожалуйста, потому что меня никто больше не любит.

– Неправда, Нина, тебя любит твой отец... Ты это знаешь! А вот у меня никого нет, и никто не любил меня никогда во всю жизнь.

Все это было сказано так грустно, что я забыла о своей горе, и с сердцем, сжимающимся от жалости, обняла и поцеловала его.

Мы сидели, крепко обнявшись, когда к нам вбежала запыхавшаяся Бэлла. От нее так и веяло жизнью и весельем.



– Одна лезгинка, два лезгинка, три лезгинка и все Бэлла, одна Бэлла, – считала она со смехом. – Больше никто не хочет плясать... Иди на выручку, красоточка-джаным!

– Нет, я не пойду.

– Как не пойдешь? Тебя всюду ищут. Бабушка приказала.

– Скажи бабушке, что я не пойду. Скажи ей, что я посадила большое пятно на платье и не смею выйти. Скажи, голубушка Бэлла!

Она удовлетворилась моим объяснением и побежала вниз, ликующая и радостная, словно сияющий день.

Мы притихли, как мышки. Нам уже не было грустно. Мы тихо посмеивались, довольные тем, что нас не разлучили.

Горе сблизжает. В первый раз я предпочла общество двоюродного брата – веселой и смеющейся Бэлле.

# Глава X

## Смерть Юлико. Моя клятва

Юлико умирал быстро и бесшумно, как умирают цветы и чахоточные дети. Мы все время проводили вместе. Бабушка, довольная нашей дружбой, оставляла нас подолгу вдвоем, и мы наперерыв делились нашими впечатлениями, беседуя, как самые близкие друзья. Белая девушка, иными словами – баронесса Елизавета Владимировна Коринг – часто посещала наш дом. Завидя издали ее изящный шарабанчик, так резко отличающийся от грубых экипажей Гори, я опрометью бросалась к Юлико и тоскливо жаловалась:

– Она опять приехала! Опять приехала, Юлико.

Он успокаивал меня как умел, этот глухо кашляющий и поминутно хватающийся за грудь больной мальчик. Он забывал свои страдания, стараясь умиротворить злое сердечко большой девочки. А между тем предсмертные тени уже ложились вокруг его глаз, ставших больше и глубже, благодаря худобе и бледности истощенного личика. Он раздавал свои платья и воротнички прислуге и на вопрос бабушки: зачем он это делает? – заявил убежденно:

– Вчера ночью ко мне приходил Дато; он обещал еще раз зайти за мною. Мы пойдем туда, где люди хо-

дят в белых прозрачных платьях, от которых исходит яркий свет. И мне дадут такую же одежду, если я буду щедрым и добрым... Иной одежды мне не нужно...

Потом, оставшись наедине со мной, он рассказывал мне разные чудесные, совсем незнакомые сказки.

– Откуда ты их знаешь? – допытывалась я.

– Мне рассказывает их мое сердце! – серьезно отвечал он.

Боже мой, чего только не выдумывала его больная фантазия: тут были и светлые ангелы, ведущие борьбу с темными духами зла и побеждающие их. Тут были и райские сады с маленькими птичками – душами рано умерших детей. Они порхали по душистым цветам Эдема и прославляли пением Великого Творца. Потом он говорил о свирепых горных духах, прятавшихся в пещерах...

Страшны и заманчивы были его рассказы...

Однажды я сидела около постели больного, и мы тихо разговаривали по обыкновению, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и вошла баронесса.

– Кто это? – спросил он испуганно.

– Меня зовут Лиза! – весело и любезно произнесла она, – надеюсь, я не помешала вам, Юлико?

Он молчал... Потом неожиданно закрыл глаза, точно заснул.

Она постояла в раздумье на пороге, улыбнулась

мне немного растерянной улыбкой и вышла.

– Она ушла? – услышала я в ту же минуту шепот моего друга.

– Ушла. А ты не спал, Юлико? – удивилась я.

– Нет. Я только хотел, чтобы она ушла поскорее!

– Но... Юлико, ты ведь хотел быть добрым.

– Ах, Нина! Она заставила тебя плакать, и я не могу этого забыть.

Мои глаза увлажнились от умиления: такой преданности и любви я не ожидала от моего маленького бедного друга!

В тот же вечер отец ходил с баронессой Лизой по саду. Увидя их, я хотела скрыться, но он заметил меня и подозвал к себе.

– Ниночка, отчего ты прячешься? – спросил он. – Вот Елизавета Владимировна хочет подружиться с тобой.

– Я все время с Юлико, папа, – ответила я.

– И хорошо делаешь: бедному мальчику немного осталось жить... Но когда он оставит тебя, ты не останешься одна. С тобой будет твоя новая мама!

«Новая мама», так вот оно, окончательное решение!

– Ниночка, будешь ли ты любить меня? – услышала я ласковый голос баронессы.

Но я молчала, опустив голову и уставясь в землю.

Меня выручила Барбале, которая пришла звать меня к Юлико.

Ночью я не могла спать. Что-то большое и тяжелое давило мне грудь. Мне казалось, что какая-то громадная птица с лицом новой мамы летает по комнате, стараясь меня задеть своими крыльями.

Я проснулась вся в холодном поту. Сумерки давно спустились. Прямо передо мной в открытое окно сияла крупная, как исполинский алмаз, одинокая вечерняя звезда.

Я протянула к ней руки... Я просила ее не меркнуть долго, долго и, пока я не вырасту большою, сиять каждую ночь, чтобы мне – маленькой, одинокой девочке – не жутко было одной...

Вдруг легкое дуновение ветерка пронеслось по комнате, и в нем я явственно услышала слабый зов Юлико:

– Нина.

– Сейчас, – откликнулась я и в минуту была около него.

Он лежал на спине с открытыми глазами. На ковре, у его ног, храпела Родам.

– Ты звал меня, Юлико? – спросила я его и очень удивилась, когда он ответил отрицательно.

– Но я совершенно ясно слышала твой голос, – настаивала я.

Он вдруг забился и заплакал.

– Нина, дорогая моя, это была смерть...

– Смерть? – вырвалось у меня, и я почувствовала дрожь ужаса во всем теле.

– Да, смерть, – с тоскою подтвердил он: – когда умирал Дато, – смерть приходила за ним и позвала меня... Я тоже очень испугался... Теперь умираю я... О, как страшно, как страшно! – и он снова заметался в своей кровати.

– Юлико, – насколько возможно спокойно проговорила я, – когда умирала деда, она не боялась смерти. Она видела ангелов, пришедших за нею, и дивный престол Господа... Около престола стояли ликующие серафимы, и деда пошла к ним с охотой, она не плакала... Темный ангел пришел к ней так тихо, что никто его не заметил...

– Но мне так душно, Нина, я так страдаю!

– Хочешь, я вынесу тебя на кровлю, Юлико, – туда, где умирала деда? – высказала я внезапно блеснувшую мысль. – Может быть, там тебе будет легче.

– Это тебе не под силу, Нина...

– О! – не без гордости улыбнулась я, – не думай, что я такая же слабенькая, как ты! Завернись хорошенько, и я отнесу тебя: там тебе будет легко дышаться; ты увидишь горы и полночную звезду.

– Да, да, горы и полночную звезду, – как эхо вторил

больной, – да, да, отнеси меня на кровлю, Нина!

Я была сильная, как четырнадцатилетний мальчик, и Юлико, слабый, исхудавший за время болезни, показался мне легким, как перышко.

Осторожно ступая, чтобы не разбудить Родам, я шла с моей ношей по длинному коридору и затем с трудом стала подниматься по витой лестнице наверх. Ступив на кровлю, я положила Юлико, дрожавшего, как в лихорадке, на тахту, ту самую тахту, на которой шесть лет тому назад умирала деда. Потом я принесла подушки и бурку, которою закутала больного поверх одеяла.

– О, теперь мне хорошо! – прошептал он. – Спасибо, добрая Нина.

Вдали темнели горы... Одинокая полночная звезда стояла прямо перед нами. Кругом слышался тихий шелест чинар в саду, и пахло розами невыразимо сладко.

– Тебе не страшно больше? – спросила я.

Он повернул ко мне лицо, все сиявшее каким-то тихим светом, делавшим его почти прекрасным. Передо мной лежал точно новый Юлико... Куда делись его маленькие мышинные глазки, его некрасивое, надменное личико!.. Он казался теперь кротким белокурым ангелом... Глазами, увеличенными неземным восторгом, с широко раскрытыми, сияющими зрачками, он смот-

рел на полночную звезду и шептал тихо, чуть внятно:

– Мне кажется... я вижу Дато...

– Где он? – спросила я.

Он поднял правую руку к небу и твердо произнес:

– Он подле престола Создателя... там, между другими ангелами. У него золотые крылья... и у твоей деды тоже... они оба улыбаются... манят... Мне душно... очень душно... подними мне голову... я, должно быть, умираю...

– Юлико! – вскрикнула я. – Я разбужу бабушку, папу...

– Нет, нет, – испуганно зашептал умирающий, – не уходи от меня. Я никого не хочу, кроме тебя... Бабушка, наверное, не любит уже меня больше... Я невольно обманул ее... Она думала, что я буду здоровым и сильным, а я ухожу в небо, как Дато. Я – последний оглы-Джамата... Последний из князей Горийских... Когда умрет дядя Георгий, не будет больше рода Джаваха... Забудут героев, павших за родину наших отцов и дедов... Не будет рода Джаваха...

– Юлико, – вскрикнула я, прислушиваясь к его слабющему говору, – я позову бабушку, она тебя все-таки любит!

– Нет, – горько улыбнулся он, – не любит она меня, никто меня не любит... Я чужой, никому не нужный... и я никого не люблю, Нина... никого, кроме тебя, моя



королева...

– Нет, Юлико, – чуть не плача, вскричала я, – ты больше не будешь моим пажом, ты брат мой. Милый брат! я так часто была несправедлива к тебе... Прости мне, я буду любить тебя... буду любить больше Барбале, больше дедушки, тети Бэллы... Ты будешь первым после папы... Живи только, бедный, маленький, одинокий Юлико!

– Нина! – восторженно-радостно, как бы последним порывом вырвалось у него, – ты мне это сказала!.. О, как хорошо мне теперь... обо мне пожалеют, обо мне поплачут... И кто же? – ты, моя сестра, моя друг, моя королева! Мне не страшно теперь! мне хорошо... Как пахнут розы... Точно фимиам стелется с неба... Я вижу Дато... я вижу темного ангела об руку с ним. Они идут сюда, они близко... они рядом... О, как мучительно... Темный ангел поднимает руку... Он зовет... иду... к тебе, Дато!.. Пора, Нина... пора... видишь, они ждут меня. О, как нестерпимо светятся их белые одежды... От них идут лучи туда... к небу... к престолу Бога... Пора... Темный ангел торопит... и Дато тоже... Иду к ним... Прощай, Нина, прощай, моя королева!

Его голос слабел, делался глуше, тише. Вот еще усилие... трепещут темные ресницы... едва уже понятно, что он шепчет... Легкий стон... хрип... закры-

лись глазки... снова открылись... Все стихло... Юлико потянулся всем телом и – умер.

Мне не было ни грустно, ни страшно. Все чувства сбились в одно необъятное умиление перед таинством смерти.

Я взглянула вокруг... Тихо... Ни шороха... ни звука... Только розы распространяют далеко вокруг свой пряный аромат, да высоко в темном небе горит по-прежнему ярко великолепная, одинокая и гордая полночная звезда.

Смерть Юлико никого не удивила. Когда, закрыв его мертвую головку белой буркой, я сбежала вниз и разбудила бабушку, отца и весь дом, все спокойно отнеслись к событию. Бабушка начала было причитать по грузинскому обычаю, но отец мой строго взглянул на нее, и она разом стихла. Потом она сердито накинулась на меня:

– Я знала, что он умрет, что его часы сочтены, но зачем ты вынесла его на кровлю: этим ты ускорила его смерть, бессердечная девчонка!

Я удивленно вскинула на нее глаза.

– Юлико умер, потому что Господь прислал за ним темного ангела смерти... Господь знал, когда должен умереть Юлико. Я не виновата. Мамао<sup>34</sup> говорит, что люди невольны ни в жизни, ни в смерти. Правда, ма-

---

<sup>34</sup> Мамао – батюшка, священник.

мао?

Седой священник, пришедший с последним напутствием к Юлико, тихо улыбнулся и положил мне на голову свою благословляющую руку.

– Ты права, дитя мое, – сказал он, – один Господь может дарить жизнь и насылать смерть людям.

Бабушка отошла от нас, недовольная и сердитая. Она не подозревала, как она меня оскорбила!..

Слезы обиды обожгли мои глаза.

– Мамао, – решительно подошла я к священнику, снимавшему епитрахиль после молитвы у тела Юлико, – он пойдет прямо к Богу?..

– Он уже там, дитя мое. Его душа у Престола Всевышнего.

– И каждый умирающий ребенок пойдет туда?

Он подумал немного и, остановив на мне свои добрые глаза, ответил твердо:

– Каждый!

«О, как бы я хотела умереть, – невольно думалось мне: – тогда бы я не видела ни бабушки, ни баронессы, которую я возненавидела от всей души».

Последняя приехала на похороны Юлико в глубоком трауре. В черном платье она показалась мне еще тоньше и еще воздушнее.

Когда двинулась печальная процессия от нашего дома с останками умершего княжича, я почувствова-

ла горькое одиночество.

Накануне я пробралась в комнату, всю затянутую черной кисеею, где стоял гроб Юлико, и, положив на кудри покойного венки из желтых азалий и бархатных магнолий, сплетенный мною собственноручно, сказала:

– Прощай, Юлико, прощай, бедный маленький паж своей королевы... Ты счастлив уже потому, что не услышишь больше злых речей и никто тебя не упрекнет ничем уже больше... Если мне будет очень, очень грустно, ты сослужишь мне последнюю службу: ты шепнешь Ангелу смерти, чтобы он пришел за мною... Слышишь ли ты меня, Юлико?..

Потом я поцеловала его...

Когда арба с золоченым гробиком остановилась у открытой могилки, бабушка заплакала и запричитала, как простая грузинка:

– Последний ребенок... последний маленький княжич рода Джаваха... вай-ме... горе нам!.. Горе мне, одинокой старухе, которой суждено увидеть вымирание славного имени!

Ее крики становились все громче и неистовее. Тогда папа, взволнованно покручивавший свои темные усы, подошел к ней.

– Перестань, деда, ты точно и меня похоронила, – сказал он с улыбкой, – а ведь я еще жив, слава Богу,

и, даст Бог, проживу еще долго, и не увидишь ты прекращения нашего славного рода.

Она успокоилась и уже больше не плакала.

Гроб Юлико опустили в землю...

В тот же вечер в траурной зале, где справлялись поминки по умершему княжичу, в присутствии многих гостей, собравшихся на похороны, отец сказал громко:

– Наша свадьба отложится на три недели, по случаю смерти маленького Джаваха.

Я обомлела...

Так, значит, это – все-таки дело решенное; значит, свадьба будет; значит, тоненькая баронесса будет моей мачехой?..

Бабушка, забыв свои недавние слезы, с нежной лаской смотрела на ту, которая должна была стать через три недели молодой княгиней Джаваха, а гости улыбались ей ласково и любезно...

Я не помню, как я вышла из-за стола, как проскользнула в мою комнату. Опомнилась я только перед портретом покойной мамы, который висел над моей постелькой.

Мои щеки грели, как в огне... Мои глаза застилали слезы...

– Деда, – в исступлении говорила я, вперив взгляд в ее милый образ с печальными глазами и прекрасным

лицом, – ты была и останешься моей единственной... Другой деда не хочет твоя крошка, твоя джаным! И если этого пожелает судьба, то я убегу, деда! Я убегу в горы... к дедушке Магомету... к княгине Бэлле Израил.

И я рыдала, говоря это, так громко, что Барбале прибежала узнать, что со мною.

– Барбале, – вскричала я, – будь свидетельницей, Барбале, что я не хочу новой деда! Слышишь ли ты это, моя старая Барбале?

Она поняла меня.

– Княжна бедняжечка! – прошептала добрая старуха и, обхватив меня руками, вдруг заплакала.

И я заплакала вместе с нею... Это уже не были слезы гнева, обиды... Ласка Барбале размягчила мне сердце... В уме зрело решение.

# Глава XI

## Колдунья Сарра. Бегство

Я решила бежать.

И это мое решение было твердо.

План бегства я уже составила. Оно было не так легко. Меня, княжну Джаваху, в Гори знала последняя армянка-торговка, знал последний грязный татарчонок. Меня могли вернуть. Но я все предусмотрела.

Я знала одного маленького бедного странствующего музыканта, сазандара-грузина Беко. Он жил в беднейшем квартале Гори за базарною площадью. Говорили, что его мать, старая Сарра, была колдунья. У сазандара Беко была волынка. Он приходил в сады богатых горийцев и пел свои песни... Беко был одного роста со мною и обожал серебряные абазы.<sup>35</sup> Когда ему бросали их из окон, он кидался на них с такою жадностью, точно от этого зависела его жизнь. У меня был подарок от папы, новенькие, блестящие два тумана, и я решила дать их Беко с тем, чтобы он продал мне свой сазандар<sup>36</sup> и свои лохмотья. Маленький сазандар беспрепятственно мог проникнуть в горы, не

---

<sup>35</sup> Абаз – 20 копеек.

<sup>36</sup> Сазандар – волынка.

возбуждая подозрений... И я решила превратиться в маленького сазандара.

С этой целью накануне задуманного мною бегства я велела оседлать Шалого и поехала в Гори.

Я ехала тихо, опустив поводья, несказанно удивляя татарчат, привыкших к моей бешеной скачке. В последний раз оглядывала я грустными глазами мой дорогой Гори, развалины, долины.

На базарной площади затихла жизнь. Время близилось к закату.

Толстые армянки сидели около своих лавок, шелушили тыквенные семечки и сплетничали напропалую.

Персиянин, продавец тканей, кивнул мне головою и похвалил мою лошадь. Он хорошо знал папу.

– Сарем, – спросила я, – не знаешь ли, как проехать к старой Сарре?

– Надо прочь с коня, сиятельная княжна. Так не проедешь. Надо спуститься рядами, за угол налево, – обязательно пояснил он и потом, мигнув лукаво глазом, спросил: – Приехала гадать к старой Сарре?

Я поблагодарила его, спрыгнула с лошади и, передав ее персу, хотела уже идти по указанному пути, как вдруг неожиданно перед нами вырос как из-под земли Беко. Он шел со своей волынкой, напевая что-то вполголоса.

– Беко! – крикнула я, – подожди меня: я шла к вам.



Он приблизился удивленный и как бы немного испуганный.

– Что надо сиятельной госпоже? – спросил он.

– Мне надо сказать тебе по секрету, Беко, – шепнула я так, чтобы не услышал Сарем, и тотчас же добавила вслух: – Сведи меня к матери твоей, я хочу узнать мою судьбу.

Он изумился, что такая маленькая девочка желает гадать у его матери, но все же повел меня к ней.

Дорогой я пояснила ему, что желаю купить у него его волынку и его рваное платье. При моем обещании дать ему два тумана, глаза его заискрились.

– А зачем нужна сиятельной госпоже бедная одежда сазандара? – лукаво жмурясь, спросил он.

– Видишь ли, Беко, – солгала я, – у нас затевается праздник... ты знаешь, свадьба моего отца... он женится на знатной русской девушке. Я хочу одеться сазандаром и спеть песню в честь новой деды.

– Но ты не умеешь играть на волынке, госпожа, – засмеялся Беко.

– И не надо... Я скажу, что волынка сломана, и она останется за плечами, я буду только петь...

– В таком случае идем. Я сведу тебя к матери. Она должна согласиться.

– Ты думаешь? – робко осведомилась я.

– Наверное, мое платье ветхо, почти лохмотья, а

волынка не стоит ничего. И если госпожа обещает два тумана...

– Я дам тебе их, Беко, – поспешила я его успокоить.

– Мать согласится, – убежденно подтвердил он и тотчас добавил: – Мы пришли, госпожа.

Я знала, что есть бедняки, живущие в подвалах, но то, что я увидела, превзошло все мои ожидания.

Странствующий сазандар – беднейший человек в Грузии. А Беко только начинал свою деятельность. Он жил с матерью в жалкой лачуге, примостившейся углом к базарной кузнице и закоптелой, как уголь, вследствие этого соседства.

Я толкнула маленькую дверь и очутилась в темноте.

– Деда, – произнес Беко, – я привел сиятельную госпожу. Ты слышишь, деда?

– Я здесь, сынок, – ответил из дальнего угла глухой и хриплый голос.

– Миленькая барышня, – залепетала она скороговоркой, – красавица госпожа... позволь старой Сарре открыть тебе будущее. А за это ты дашь ей еще один блестящий маленький абаз... Один только абаз... сиятельная госпожа... на трубку Сарре...

– Но у меня больше ничего нет, – смущенно пролепетала я, – я отдала вам все, что у меня было.

– Ай, ай, ай! – зачем такой хорошенькой госпо-

же говорить неправду... – отвратительно засмеялась безумная... – Хорошенькая госпожа с алмазными глазами даст беленький абаз бедной Сарре... Сарра расскажет госпоже все... все...

– Но...

– Слушай, девушка, – вдруг совсем переменяла тон старуха, и при мерцающем свете огарка лицо ее стало важно и неподвижно, как у мертвеца, – слушай, девушка... черные мысли посланы шайтаном... великою темною силою... темная сила изгоняет светлую из твоей души... Душа твоя борется... Темная сила торжествует. Я вижу горы... черная ночь их караулит... Идет сазандар по горной тропинке... идет не по воле. Белая голубка заменяет черную орлицу в гнезде орла... Сазандар все дальше... и дальше... Ему смерть заглядывает в очи... Крыло темного ангела близко, но его не задело... Он жив... Горный сокол его защита... Но горному соколу не долго летать в горах... Я вижу кровь... много крови... А там плачет белая голубка, что не попала в гнездо орла... Орел любит свое детище... И еще дорога... Холодная страна... и девушки... их много... много... Орленок пойман и заперт в клетку. Он задыхается и плачет... он рвется в горы и снова темный ангел близко... Его крыло трепещет... Он...

Старуха не кончила... Она упала в конвульсиях у порога и громко застонала...

– Но тут темно, как в могиле. Я ничего не вижу! – робко произнесла я.

В ту же минуту чиркнула спичка. Желтенькое пламя ее заколебалось в углу.

Люди считали мать Беко колдуньей. Она никуда не выходила из своего жилища, точно боялась солнечного света. Зато к ней охотно шли темные, наивные жители бедного квартала. Она гадала им на картах, зернах кукурузы и кофейной гуще.

Она казалась безумной или притворялась ею.

Я невольно вздрогнула при виде худой, сгорбленной, еще не старой женщины, в ярких пестрых лохмотьях, с выглядывающими из-под шапочки седыми космами. Ее глаза горели беспокойными огоньками. Она поминутно принималась беспричинно смеяться и мурлыкать себе под нос.

– Будь здорова, сиятельная княжна Нина Джаваха, – произнесла она.

– Откуда ты знаешь мое имя, Сарра? – удивилась я, подавляя в себе невольный страх при виде старухи.

– Нет ничего на свете, чего бы не знала Сарра, – странно засмеялась она, – знает Сарра и то, что делается за 10 тысяч верст отсюда.

– Матушка, – робко произнес Беко, – княжна желает... – и он тихо и скоро начал передавать ей причину моего прихода.

Она слушала внимательно, блуждая глазами по мей фигуре, и вдруг вскрикнула:

– Два тумана! Великие силы темные и светлые, два тумана! За ветхие лохмотья два тумана! Верно ли я слышала, Беко?

– Верно, – произнес мальчик, – и за волынку тоже.

– Хвала темным и светлым силам! Теперь старуха Сарра может питаться и не одними кукурузовыми зернами!.. А к празднику купить мокко,<sup>37</sup> настоящего турецкого мокко... слышишь ты, Беко, черного мокко и долю табаку!

И вдруг она неожиданно взвизгнула и дико закружилась по комнате.

– Долю табачку и мокко, настоящего турецкого мокко! – выкрикивала старуха, кружась, точно в исступлении безумия.

Я дрожала от страха... Мои зубы стучали.

– Беко, – сказала я, – возьми свои два тумана и отдай мне платье... Мне пора идти.

– Да, да, сынок, дай ей платье, ей пора идти, – подхватила старуха, – только получи с нее два тумана... получи с нее два тумана! – еще громче выкрикнула она хриплым, неприятным голосом.

Я задрожала еще сильнее.

– Вот два тумана, Беко... – произнесла я, едва вла-

---

<sup>37</sup> Мокко – кофе.

дея собой, и протянула руку.

В ту же минуту я почувствовала на ней прикосновение острых крючковатых ногтей, и миг червонцы исчезли с моей ладони.

Старуха Сарра по-прежнему прыгала и приплясывала по земляному полу своей комнатки. Беко пошел в темный угол, чтобы снять с себя платье, единственное, может быть, которое имел. Моя голова кружилась и от едкого неприятного запаха, царившего в этом ужасном жилище, и от криков безумной. Едва получив узелок от Беко, я кивнула обоим и поспешно направилась к выходу.

В три прыжка старуха очутилась передо мною и загородила мне дверь.

Быстрым движением рванула я дверь и очутилась на воздухе.

Я опять увидела небо и Гори... Смердное жилище предсказательницы осталось позади...

– Что наврала тебе старуха? – заинтересовался Сарем, подавая мне стремя, – на тебе лица нет, княжна!

– О, Сарем, – вырвалось у меня, – как все это ужасно, надо ей помочь, она умирает.

– Выживет. Ведьмы живучи, – рассмеялся он недобро, – еще долго будет морочить народ и выклянчивать деньги!.. Добрый путь, княжна, кланяйся генералу, –

и, кивнув мне еще раз головою, он пошел к себе под навес, а я поскакала к дому.

Никогда еще не была я так безжалостна к моему коню, никогда так не хлестала крутых боков Шалого крошечной нагайкой. Верный конь понимал меня и нес быстро-быстро. В мозгу моем проносились обрывки бредней вещуньи. Я хотя и считала их вздором, но не могла выгнать из мыслей. Я рвалась домой...

На завтра был решен мой побег. Ни одна душа не догадывалась о нем. Целые три недели готовилась я к нему. В маленьком узелочке были сложены лаваш и лобии, которые я ежедневно откладывала от обеда и незаметно уносила к себе. Мой маленький кинжал, остро отточенный мною на кухонной точилке, во время отлучки Барбале, тоже лежал под подушкой... Я уже сходила на кладбище проститься с могилками мамы и Юлико и поклясться еще раз моей неразрывной клятвой у праха деда.

Я выпустила на свободу Казбека, у которого за лето порядочно отросли крылья, и молодой орел улетел в горы. С бабушкой я была особенно добра последнее время: мне не хотелось оставлять по себе дурного впечатления. Даже с ненавистной баронессой я была очень любезна, чем порадовала папу. Барбале, Родам, дурачок Андро, отчаянно грустивший со смерти своего молоденького княжича, Брагим, Михако и Ан-

на – все не могли нахвалиться мною. Я была кротка, добра, предупредительна. К отцу только я не ласкалась... Я боялась, что если загляну в его малые, прекрасные глаза, – у меня уже не хватит силы его покинуть и я не в состоянии буду исполнить моего замысла, не решусь оставить его...

Все эти три недели я ежедневно уносила с Шалым в предместья Гори, прощаясь с милыми, родными местами...

И вот день побега подошел.

Накануне, сидя в последний раз на спине Шалого, я невозможно горячила его, чтобы упиться до конца безумно-быстрой скачкой.

– Завтра, завтра, – твердила я, как во сне. – Завтра я уже не буду видеть тебя, мой розовый, мой благоухающий Гори... я буду далеко... Завтра, когда счастливая невеста войдет в дом моего отца, маленькая, злая княжна Нина будет уже за несколько десятков верст от дома! Прощай, Гори! Прощай, моя родина!.. Да, завтра меня здесь не будет. «Белая голубка заменит в гнезде черную орлицу, – вспомнила я предсказание Сарры. – Маленький орленок не может ужиться в одном гнезде с белой голубкой...» Как хорошо, как поэтично высказала Сарра свое пророчество!..

«Пророчество? – с ужасом поймала я себя на мысли, – пророчество – значит, Сарра говорила правду...



Она ясновидящая!.. А горный коршун, а кровь... а девушки и тесная клетка? Что это? Помоги мне, Боже! Я ничего не понимаю!»

Почти бесчувственную снял меня с лошади отец, ожидавший у крыльца моего возвращения, и, прижав к груди, понес в дом.

– Нина, что так долго? Как ты нас испугала, дитя мое! Где была ты? – ласково журил он меня дорогой. – Что с тобой? Как ты побледнела!

– Ничего, папа, меня понес немного Шалый, – солгала я.

– Эти прогулки пора прекратить, – слышишь ли! Ты не будешь больше ездить на Шалом, пора приняться за серьезное учение, – строго проговорила бабушка, не удостоив меня даже взглядом.

– Да они и прекратятся, завтра же, – не без злорадства сказала я, дерзко взглянув на эту сухую, черствую, педантичную старуху.

– Что это у тебя, дитя? – спросил отец, указывая на узелок, который я, как сокровище, прижимала к груди.

– Это? – и я вспыхнула, как зарево, – это... маленький сюрприз тебе на завтра... к свадьбе... – солгала я еще раз невольно в этот вечер.

Бедный, милый отец! Если б он знал, что за свадебный подарок готовила ему его любимица-джаным! К счастью, людям не дано судьбою читать в мыслях

друг друга.

Он ласково, счастливо улыбнулся мне...

Чай, выпитый мною в последний вечер в отцовском доме, показался мне горьким и невкусным. Я не до-  
тронулась ни до ужина, ни до вина. Потом, ссылаясь  
на головную боль, я попросила позволения выйти из-  
за стола.

Бабушка сердито покосилась на меня, а отец встал  
встревоженный.

– Что с тобой, чеми потара сакварело, что с то-  
бой? – спросил он, благословляя меня на сон гряду-  
щий и заглядывая в мои глаза.

– Ничего, папа, болит голова немного, устала и  
только! – возможно спокойнее отвечала я и, боясь  
разрыдаться у него на глазах, поспешила выйти.

Он догнал меня на дороге, поднял на руки и понес,  
шутливо убаюкивая, как это часто делал в детстве.

– Папа-радость! – могла я только выговорить и с  
силой прижалась к его груди. – Любишь ты меня?

– Люблю ли я тебя? – вскричал он, – тебя – мою ма-  
люточку, мою девочку, мою дочурку-джаным!.. Люблю  
ли я тебя? И ты можешь это спрашивать, злая крош-  
ка?

– Папа мой, – шепнула я, блаженно закрывая глаз-  
ки, – если б я умерла... как мама и Юлико... ты бы  
много плакал? горько?

– О-о! – стоном вырвалось из его груди и он до боли крепко сжал меня руками.

Я видела при бледном свете месяца, как помертвело его лицо, и сердце мое сжалось.

– Что ты, папа, золото мое... ведь я жива, я около тебя... здесь, папа... и буду с тобою, хорошей, умницей... а ты посиди за это у меня на постельке и расскажи мне сказку о луче месяца... помнишь, как рассказывал, когда я была малюткой! – просила я, ласкаясь к нему.

– Да, да, – обрадовался он, – я расскажу тебе сказку, а ты лежи тихо, тихо... как мышка.

– Милый папа, – позвала я его, в одну минуту раздевшись и юркнув в постель, – я готова. Начинай свою сказку.

Он сел на краю кровати и, играя моими черными, длинными косами, унаследованными мною от мамы, начал свою сказку...

Чудесная это была сказка! Луч месяца рассказывал в ней о своих странствиях – как он заглядывал на землю и людские жилища и что видел там: он был и в царском чертоге, и в землянке охотника, и в тюрьме, и в больнице... чудесная сказка, но я ее на этот раз вовсе не слушала. Я только ловила звуки милого голоса, и сердце мое замирало от сознания, что завтра я уже не услышу его, не увижу этого чудесного, доброго лица с

гордыми прекрасными глазами и ласковым взглядом.

Я закрыла глаза, живо представляя себе его образ, чтобы убедиться – удастся ли мне это, когда я буду вдали от него.

– Ты спишь, моя крошка? – тихо спросил он.

Если б я ответила, то, наверное, разрыдалась бы: так нежен, так женственно-ласков был его вопрос. Я промолчала...

Тогда он наклонился надо мной и нежно и слабо коснулся губами моего лба.

– Спи, моя дочурка, спи, чеми потара сакварело, – произнес он свою любимую ласковую фразу.

Броситься к нему на грудь, обвиться руками вокруг его шеи, прижаться ответным поцелуем к его дорогим устам – вот что хотела я сделать. Но... не сделала...

«Свадьба завтра... Белая голубка поселится в орлином гнезде, где маленькому орленку нет места... О, деда! я сдержу мою клятву!» – вихрем пронеслось в моих мыслях.

Он вышел, осторожно ступая, чтобы не разбудить меня, а я зарылась головой в подушки и рыдала глухо, неудержимо...

... ..

Еще лучи восхода не золотили Горы, когда я, в костюме сазандара Беко, вышла из дому с волынкой за плечами и узелком в руках.

Я долго перед уходом возилась с моими волосами: они никак не хотели укладываться под грязную баранью папаху. Резать мне их не хотелось. Волосы – гордость и богатство восточной девушки. Да и в ауле Бестуди засмеяли бы стриженую девочку. И я с трудом зачихала их под шапку, радуясь, что не пришлось их резать.

Выйдя из дому, я обрывом спустилась к Куре, перешла мост и, взобравшись на гору с противоположного берега, оглянулась назад. Весь Гори был как на ладони. Вот наш дом, вот сад, вот старый густолиственный каштан под окном отца... старый каштан, посаженный еще при дедушке... Там за его ветвями спит он, мой папа, добрый, любимый... Он спит и не подозревает, что задумала его злая потара сакварела...

Бедный, дорогой папа, простишь ли ты свою джаным, свою голубку? Прости, добрый, прости, милый! прости, мой папа! я не могла поступить иначе... Прости и верь, что я люблю тебя много, сильно... Прощай и ты, моя родина... моя тихая, улыбающаяся Грузия... Я уйду от тебя искать новую жизнь в суровых горах Дагестана... Прощай, родной, тихий, благоухающий, розовый Гори!..

Я оглянулась еще раз... еще и еще... потом зажмурилась и бегом кинулась по направлению гор.

Солнце вставало... Золотые лучи робко касались

горных каменных гребней, густо поросших цепким виноградником... Долина Куры – самая бедная плодородием, но я любила ее, потому что здесь моя родина... Я любовалась ею и ничего лучшего не хотела бы взамен... А между тем я уходила все дальше и дальше, смутно помня дорогу, по которой два с половиной месяца назад мы ехали в Дагестан. Но скоро пришлось изменить направление: мне было небезопасно идти по проезжему тракту. Далеко вокруг Гори знали богатого, именитого князя Джаваха и его черноглазую дочь. Поэтому я свернула в горы и углубилась в них, стараясь все же держаться направления почтового тракта. Изредка до меня доносились звуки колокольчика и топот лошадей. Потом все стихло... Должно быть, я сбилась с дороги... Мне хотелось есть; ноги мои, не привыкшие к ходьбе, болезненно ныли.

– Надо будет подождать, пока смеркнется, и пойти проситься переночевать в ауле, – решила я, доставая из мешка лаваша и принимаясь за еду.

Я сильно проголодалась и быстро уничтожала свои припасы.

Наконец, голод был утолен, но начиналась жажда. «Тут должна быть близко вода», – мелькнуло в моей голове.

Я слышала шум реки или потока и, бодро вскочив на ноги, стала пробираться в чашу.

Взобравшись на гору, я тихо ахнула. Из зеленого утеса бил родник. Высокая, стройная девушка в голубом бешмете, без шапочки, но с одной фатой, по-мингрельски накинутой поверх черных кос, наполняла водой свой глиняный кувшин.

Увидя меня, она вскрикнула:

– Какой красавчик-сазандар! Откуда?

– Из Цылкан, – солгала я храбро.

– А идешь?

– Иду, куда глаза глядят, куда поведут меня мои песенки. Можно мне напиться, красавица?.. не знаю, как твое имя...

– Можно, – засмеялась она, – вода не моя, а Божья... Да как же ты один-то... ведь совсем молоденький сазандар... Поди и двенадцати нет?

– Четырнадцать, – еще раз солгала я, уже не краснея.

– Все же молоденький. Верно, мало тебя любит твоя деда, если отпускает одного.

– Моя деда в земле, – отвечала я печально. – Нет у меня деда... Я сирота... один на свете.

– Бедный маленький сазандар! У меня тоже нет матери, но у меня есть отец. Он держит духан у аула. Он армянин. Знаешь ты духан армянина Аршака? Нет, не знаешь? Это отец мой... Пойдем со мною, миленький сазандар... Мы накормим тебя в нашем духане, а ты

нам споешь за это свои песни. Я люблю песни, и гости в духане тоже будут их слушать и дадут тебе блестящие абазы... Пойдем, миленький сазандар.

Ночь в горах не предвещала ничего доброго; а голос девушки был так нежен, и сама молоденькая армянка выглядела такой ласковой, что я согласилась на ее предложение.

– Как тебя зовут? – спрашивала она меня дорогой.

– Беко! – ответила я, не моргнув глазом.

– Ты знаешь много песен, Беко?

– Много знаю. К несчастью, моя волынка сломана и я не могу играть на ней, но мой голос чист и звучен, и я знаю много хороших песен.

– Ну, вот мы и пришли! – воскликнула моя новая покровительница.

Мы действительно стояли у дверей духана, из которого неслись шум и хохот гостей.

– Отец, – крикнула Като (так звали девушку), вводя меня в большую, заполненную клубами табачного дыма комнату, где запах бурдючного вина сливался с запахом сала и баранины, – я веду к тебе гостя.

Толстый армянин, с крючковатым носом и бегающими черными глазками, недружелюбным взглядом окинул меня и грубо крикнул:

– Зачем привела нищего песенника? Много их шляется! Духан не ночлежный дом.



– Но он сазандар, батюшка, – вступилась за меня Като, – он знает песни.

– Какое мне дело до твоего сазандара и до его песен! – грубо крикнул армянин, но тут гости, фигуры которых постепенно стали вырисовываться из облаков дыма, вступились за меня.

– Почему бы и не попеть немножко маленькому сазандару... К тому же он тих, как курица, и выглядит девчонкой.

Гостей было несколько человек, они пили и курили; трое из них играли в углу в карты.

– Ну, ладно, оставайся, – разрешил хозяин, – и потешь господ.

В ту же минуту Като поставила передо мною блюдо дымящегося шашлыка. Я не ела ничего горячего со вчерашнего дня и поэтому приправленный прогорклым салом шашлык показался мне очень вкусным.

– Ну, а теперь пой, сазандар, – приказал содержатель духана, когда тарелка, поданная мне, опустела.

Я храбро вышла на середину комнаты и, взглянув на улыбающуюся Като, запела:

«В горной теснине приютился духан... В нем бойко торгует старый Аршак... У Аршака дочь красавица Като... У Като черные очи и доброе сердце. Ей жаль бедного сазандара, попавшегося на дороге. Она приводит его в духан и дает ему есть. Сазандар благода-

рит Като и желает ей доброго жениха. А гости в духа не смотрят на Като и говорят: „Это добрая девушка. Взять ее к себе в дом – значит получить благо, потому что доброе сердце жены – величайшее богатство в доме Грузии“...»

Я не знаю, каким образом случилось то, что песня слагалась в моих устах толково и гладко. Гости одобрительно кивали головами, старый Аршак подмигивал им на покрасневшую Като, а Като сквозь смех шептала:

– Ишь, что выдумал, пригоженький сазандар!

Ободренная успехом, я начала им ту песнь, которую слышала от деды о Черной розе, унесенной на чужбину:

Черная роза в расщелине скал  
Выросла нежной весною,  
Ветер апрельский цветочек ласкал,  
Ночь поливала росю...  
Роза цвела, ароматам своим  
Воздух родной насыщая...  
Вдруг...

Мой голос оборвался на полуфразе... Под окном духана зазвенели подковы лошадей... Кто-то близко щелкнул нагайкой...

– Что же остановился, мальчуган? – Это новые го-

сти, – успокаивали меня мои слушатели.

Это в самом деле были новые посетители.

Хозяин вышел на крыльцо. Минут с пять он поговорил с ними, потом снова вошел в комнату и сказал громко:

– Они ее не нашли!

– Кого? – вырвалось у меня помимо желания.

– Видишь ли, – начала Като: – один горийский генерал и князь разослал на поиски своих подначальных казаков. Дочка у него пропала, совсем молоденькая девочка. Боятся, не упала ли в Куру. Нигде следа нет. Не видал ли ее, пригоженький сазандар?

– Нет, не видал, – с дрожью в голосе произнесла я и подумала: «Бедный, бедный папа! сколько невольного горя я причинила тебе!..»

Оставаться дольше в духане, куда каждую минуту могли приехать наши казаки, было опасно. Поэтому я воспользовалась тем временем, когда хозяева вышли провожать гостей, прыгнула в окно и исчезла в темноте наступающей ночи...

## Глава XII

### Ночь в горах. Обвал

Я шла наугад, потому что черные тучи крыли небо и ни зги не было видно кругом. Воздух, насыщенный электричеством, был душен тою нестерпимую духотою, которая саднит горло, кружит голову и мучит жаждой. Я шла, с ужасом прислушиваясь к отдаленным раскатам грома, гулко повторяемым горным эхом.

Гроза надвигалась... Вот-вот, казалось, ударит громовой молот, разверзнется небо, и золотые зигзаги молнии осветят угрюмо притаившихся горных великанов.

Идти я уже не могла из боязни упасть в пропасть. Тропинка становилась все уже и уже и вела все выше и выше на крутизну. Мне становилось так страшно теперь в этой горной стремнине один на один с мрачной природой, приготовившейся к встрече с грозой.

И вот она разразилась... Золотые змеи забежали по черным облакам, гром гремел так, что, казалось, сотрясались горы, и целый поток дождя лился на почву, делая ее мягкой и скользкой...

Я прижалась под навес громадного утеса и с ужасом вглядывалась в темноту ночи... Где-то дико реве-

ли потоки, и горы стонали продолжительным, раскатистым стоном.

И вдруг я увидела то, чего никогда не забуду. Извилистая золотая стрела молнии, сорвавшись с неба, ударила в соседний утес, и громадный кусок глыбы оторвался от скалы и полетел в бездну, прямо в объятия ревущего горного потока. В ту же минуту отчаянный крик раздался по ту сторону утеса... Ответный крик вырвался из моей груди, и я потеряла сознание.

Я не могу отдать себе отчета, сколько времени прошло с тех пор, как я, напуганная горным обвалом, упала без чувств на скользкую тропинку: – может быть, мало, может быть, много...

Когда я открыла глаза, грозы уже не было. Я лежала у костра на разостланной бурке... Вокруг меня, фантастически освещенные ярким пламенем, сидели и стояли вооруженные кинжалами и винтовками горцы. Их было много, человек 20. Их лица были сумрачны и суровы. Речь отрывиста и груба.

«Это горные душманы», – вихрем пронеслось в моей голове, и холодный пот выступил у меня на лбу.

Я боялась пошевелинуться... Пусть лучше сочтут меня мертвой, – авось, уйдут... и оставят меня одну.

– Эге, да мальчонка-то отошел, – услышала я грубый голос над собою и, открыв глаза, встретила взглядом с высоким, мрачного вида горцем.

Он был одет в простой коричневый бешмет и черную бурку; за поясом у него болтались нарядные с серебряными рукоятками кинжалы и тяжелые пистолеты, тоже украшенные серебром и чернью. Кривая шашка висела сбоку...

– Небось, душа ушла в пятки, признавайся, – продолжал горец, как бы забавляясь моим смущением, и потом спросил грозно: – Кто ты?

– Я – Беко, сазандар Беко... Я шел из Цвили и в горах заблудился... – пролепетала я.

– Есть у тебя деньги?

– Нет, господин, всего два абаза, данные мне добрыми господами в духане.

– Не велико же твое мастерство, мальчуган, если ты имеешь только два абаза за душою!.. Ты грузин?

– Я алазанец.

– То-то... Ленивые животные эти грузины, а алазанцы и гурийцы особенно. Солнце и небо за них... И виноград и кукуруза... Верно ли я говорю? – обратился он неожиданно к остальным.

– Верно, ага,<sup>14</sup> – почтительно отвечали те.

– Ну, ладно! Волею Аллаха, нашли мы тебя, мальчуган, на тропинке, взять с тебя нечего... Не душить же тебя из-за твоих лохмотьев. Давай два абаза и проваливай к шайтану.

---

<sup>14</sup> Ага – господин по-горски.

Я вскочила на ноги и, положив в протянутую ладонь монету, готова была уже скрыться, как вдруг неожиданно к самому костру подскочил всадник. Он ехал на горной белой лошадке, а другую держал на поводу. Это была высокая вороная лошадь, дрожавшая всеми членами... Приехавший горец, весь укутанный с головой в бурку, привязал свою лошадь к дереву и подвел вороного коня к самому костру... Я замерла от удивления и страха... Это был он, мой Шалый, мой верный конь, я его узнала! И рванувшись вперед, я вскрикнула не своим голосом:

– Шалый!

Да, это был он – мой Шалый! Мой верный Шалый, мой друг и слуга незаменимый!

В ответ на мой отчаянный крик, он издал продолжительное ржание. В минуту забыв все: и горных душманов, и опасность быть открытой, и мой недавний обморок, происшедший от горного обвала, и адскую грозу, и все, что случилось со мной, я повисла на его тонкой, красивой шее, я целовала его морду, его умные карие глаза, шепча в каком-то упоении:

– Шалый мой! родненький мой! миленький!

Внезапно чей-то бешеный хохот, полный торжества и злобы, прервал мои излияния.

– Так вот где встретились! – услышала я между взрывами бешеного смеха.

Вскинув глазами на вновь прибывшего, я обомлела... Передо мной был Абрек!

Бурка упала с его головы. Яркое пламя костра освещало зловещим светом его торжествующее лицо.

С минуту он молчал, как бы наслаждаясь моим ужасом. Потом рассмеялся новым, уже тихим и торжествующим смехом, который еще мучительнее прежнего отдался в моем перепуганном сердце.

– Что ты, Абрек, – удивленно окликнул его высокий горец, – или шайтан вселился в тебя?

– Стой, ага! – внезапно оборвав смех, ответил тот и после короткой паузы спросил более спокойно высокого горца: – Знаешь ли ты, ага, кто этот сазандар?

– Нет, не знаю... Неужели ага-Бекир, ваш вождь и начальник, может интересоваться нищим сазандаром? – надменно ответил тот.

– Слушай же, – снова произнес, не сводя с меня горящих глаз, Абрек, – это не сазандар, а дочь моего врага – русского генерала князя Джаваха-оглы-Джамата.

И, сказав это, он внезапно умолк, торжествующе обводя взглядом все собрание.

Настала зловещая тишина, такая тишина, что слышно было, как летучая мышь шелестела крыльями, да капли дождя гулко падали на размякший грунт.

– Так это правда? – спросил тот, которого называли



ага-Бекиром, и мрачное лицо его еще больше нахмурилось.

– Не веришь! – рассмеялся Абрек и, неожиданно приблизившись ко мне, сорвал с моей головы папаху.

Пышные косы, прижатые крепко сидевшей на них шапкой, упали с темени и двумя черными змейками спустились вдоль стана.

В ту же минуту громкий и веселый смех нарушил тишину.

– Ай да мальчишка! Вот так сазандар! – хохотали душманы, оглядывая меня насмешливыми и зоркими глазами.

Между тем Абрек приблизился ко мне. Его лицо сияло какой-то сатанинской радостью:

– Слышишь ты, княжна Нина Джаваха! Я узнал тебя... скажи же этому аге, моему начальнику, что Абрек говорит правду...

– Абрек говорит правду, – точно во сне пролепетала я, – Абрек говорит правду. Я – княжна Джаваха.

– Тем лучше, – вмешался ага-Бекир, – если ты дочь русского генерала, – мы сорвем с него большой выкуп.

– Выкуп? – прервал его Абрек, и лицо его перекопилось от бешенства. – Нет!.. Не вычеканили еще тех туманов, какими можно выкупить мою пленницу!.. У меня старые счета с этой девчонкой.

И, обратившись ко мне, он проговорил торжественно:

– Помнишь ли ты, княжна, как ради драгоценностей старой княгини выдала ты верного слугу? Помнишь, как при всех назвала Абрека и предала его позору? Тогда он поклялся отомстить! Помнишь ты этот красный рубец на моей щеке? помнишь ли, княжна Нина?

Я молчала. Он был страшен. Перекошенное от бешенства лицо не носило ни малейшего следа сожаления.

– Мне страшно! – прошептала я и закрыла лицо руками. – Не смотри так на меня, Абрек, мне страшно!

– Страшно, – прокричал он в бешенстве, – теперь страшно? А не страшно было выдавать Абрека?.. Я говорил – попомню, и пришел час!..

– Полно, Абрек, пугать ребенка, – вмешался молодой статный горец, странно похожий на ага-Бекира. – Уж не думаешь ли ты сражаться с детьми?

– Молчи, Магома, – сказал Абрек, – не суйся туда, где тебя не спрашивают! Абрек большой слуга ага-Бекира. Абрек привозит своему начальнику и золото, и ткани, и драгоценности. Теперь Абрек привез ага-Бекиру коня, такого коня, какого давно хотел ага... Абрек чуть не попал в тюрьму из-за жалкой девчонки, Абрека ударили нагайкой... и кто же – презренный урус, грузин! Сегодня Абрек увел коня от своего недруга...

Никто не заметил, все искали пропавшую девчонку... Свадьбу не пировали... вина не пили... бросились в горы догонять ребенка... Абрек пробрался в конюшню и взял коня. Никто не видел, кроме Андро... Да он блажной... одержим шайтаном... если и видел, то не скажет, а скажет, – Абрек уже далеко... что пользы? Бери коня, ага-Бекир, и награждай по обещанью верного слугу.

– Чем наградить тебя, Абрек? – спросил вождь душманов. – Бери деньги, вещи, что хочешь.

– Ничего не надо, ага! Одного хочу: отдай девчонку...

Я вздрогнула, зловещее лицо горца приводило меня в смертельный ужас... Он мог замучить и убить меня безнаказанно... Горы свято хранили тайны своих душманов...

Мое сердце уже больше не замирало. Оно было сковано тем ледяным ужасом, который трудно описать.

Моя жизнь зависела от ответа Бекира. Он стоял лицом к костру и, казалось, боролся. Богатый выкуп, очевидно, прельщал его, но в то же время он не хотел отступить от слова, данного Абреку в присутствии своих подчиненных: он должен был сдержать это слово. Оттого-то лицо его носило следы борьбы и нерешительности.

– Брат, – снова вмешался в разговор юный и стройный Магома, – брат, неужели ты не вступишься за бедного ребенка?

Неожиданное вмешательство юноши погубило меня.

– Магома! – важно начал Бекир, – законами Корана запрещается младшим учить старших. Ты еще не воин, а ребенок. Помни... в Кабарде не нарушают данного слова... А мы оба с тобой, Магома, родом из Кабарды!

Потом, повернувшись в сторону моего врага, он сказал:

– Абрек, пленница – твоя.

– Харрабаджа!<sup>38</sup> – безумно крикнул Абрек, и его воинственный крик далеко раскатился зловещим эхо по горным теснинам. – Харрабаджа! Велик Аллах и Магомет, пророк его... Будь благословен на мудром решении, ага-Бекир!.. Теперь я насыщусь вполне моим мщением!.. Князь горийский попомнит, как он оскорбил вольного сына гор. Князь горийский – завтра же найдет в саду труп своей дочери! Харрабаджа!

Я помертвела... ужас сковал мои члены... Не помню, что было дальше... Пламя костра разрасталось все больше и больше и принимало чудовищные размеры... Казалось, точно горы сдвинулись надо мною,

---

<sup>38</sup> Харрабаджа – воинственный, восторженный крик у горцев.

и я лечу в бездну...

... ..

Когда я пришла в себя, та же темная ночь стояла над окрестностями. Дождь перестал, но тучи еще не открывали неба. Костер потухал и тлеющие уголья, вспыхивая по временам, озаряли спящие фигуры душманов...

Все мои члены ныли... Я хотела расправить их и не могла поднять руки. К ужасу моему, я поняла, что была связана...

Страх перед близостью смерти охлаждал мои жилы. Запоздалое раскаяние в моем нелепом бегстве больно сосало мне сердце...

«„Завтра князь горийский найдет в своем саду труп своей дочери!“ – переливалось на тысячу ладов в моих ушах. – Завтра меня не будет! Ангел смерти прошел так близко, что его крыло едва не задело меня... Завтра оно меня накроет... Завтра я буду трупом... Мой бедный отец останется одиноким... И на горийском кладбище поднимется еще новый холмик... Живая я ушла с моей родины, мертвую судьба возвращает меня ей. Темный Ангел близко!..»

И никогда жизнь не казалась мне такой прекрасной, как теперь!.. Теперь, на краю могилы, я искренне раскаивалась в том, что сделала...

Бедный отец! бедный папа! ты не скажешь больше

«чеми потара, сакварело» твоей маленькой Нине! Ты не услышишь больше никогда смеха твоей дочурки!

... ..

Уголья в костре еще раз вспыхнули и погасли... В ту же минуту странный шорох раздался вблизи меня...

«Это Абрек! – в смертной тоске подумала я. – Абрек идет покончить со мною...»

И странно: близкая смерть теперь уже не пугала меня. Я видела, как умирала мама, Юлико. В этом не было ничего страшного... Страшно только ожидание, а там... вечный покой. Это часто повторял дедушка Магомет; я вспомнила теперь его слова...

И я приготовилась и ждала... Вот кто-то приблизился ко мне... Маленькая серебристая лента, должно быть, лезвие кинжала, мелькнула в воздухе и... и в это самое время, когда я ожидала, что настал мой последний час, мои руки и ноги были внезапно освобождены от режущих их веревок, и кто-то сильный поднял меня на воздух и понес.

Опять отчаянный страх – не перед смертью, нет, а от неведения того, что хотят делать со мною, – сковал мою маленькую душу. Я не могла кричать... я задыхалась. Легкий стон вырвался из моей груди... но в ту же минуту на губы мои легла чья-то сильная рука и сжала мне рот, так что я не могла крикнуть... Где-то близко-близко послышалось конное ржание. Внезап-

но те же руки опустили меня на что-то твердое... Потом я ясно почувствовала, как меня привязали к седлу лошади, как обмотали поводя туго-туго вокруг моих кистей... В эту самую минуту луна выглянула из-за тучи и осветила стоящего передо мною человека...

Это был Магома... А сама я сидела на спине моего Шалого... Верный конь тихо ржал и все его тело подергивалось дрожью нетерпения...

Безумная радость охватила меня... Я не умру под ударом Абрековой шашки! Магома избавил меня от смерти! Магома спас меня!

Что его заставило пойти против брата? Отвращение ли к крови или юношеская доброта, – но он избавил меня от смерти, от гибели...

– Ну, теперь, айда, – тихо зашептал он, – от быстроты коня зависит спасение!.. (Нагонят – убьют!..

Сказав это, Магома изо всей силы ударил Шалого нагайкой. Благородный конь, незнакомый до сих пор с таким приемом, рванулся, встал на дыбы и... понесся вперед, как безумный... Я не успела оглянуться назад, ни даже кивнуть в знак благодарности моему спасителю. Шалый, точно сознавая смертельную опасность, несся, как вихрь.

Гроза утихала... Отдаленные раскаты грома изредка нарушали торжественное безмолвие гор...

В моей душе тоже постепенно стихала гроза ужа-

сов, потрясших ее так внезапно. Прямо надо мною темнел полог ночного неба... Я подняла к нему взор и самая горячая, самая жаркая молитва вырвалась из моего детского сердца и понеслась к престолу Все-вышнего...



## Глава XIII

### Снова дома. Две клятвы

Луна пряталась и выходила снова, и снова пряталась за тучу, а Шалый все несся и несся вперед... Кругом, темнея, высились великаны-горы, точно призраки исполинских духов. Я скакала без мысли, без чувства... Голова моя не работала... Мне теперь не было ни страшно, ни жутко... Ужасное волнение сменилось полнейшим равнодушием... Сердце молчало... мозг тоже... Странная сонливость овладевала мной... Я уже начала склоняться к шее лошади, борясь последними силами с нежеланной дремотой, как вдруг совсем близко от меня прозвучали копыта коня.

– Погоня! – вихрем пронеслось в моем мозгу и я конвульсивно сжала ногами бока Шалого. Но погоня настигала... Вот она ближе... ближе... вот уже ясно слышится храп передовой лошади. Я зажмуриваю глаза. «Сейчас смерть... – реет в моей голове быстрая мысль... – Стоило Магоме спасти меня, для того чтобы судьба снова толкнула меня в холодные объятия смерти!»

– Ну, Шалый, ну, милый, скорее, скорее!.. – понукала и моего любимца, и он скакал так, как может только скакать волшебный конь в какой-нибудь сказке...

И все-таки не в его власти было спасти свою маленькую госпожу!.. Страшный всадник настигал меня!.. Его лошадь шла теперь вровень с моей. Он, я видела ясно, заглядывал на меня сбоку и вдруг, поравнявшись со мною, внезапно вскрикнул:

– Матушка! Княжна! Стойте, ведь свои же... Это я – Михако... Еле признал... Стойте!..

Вмиг все застлалось перед моими глазами розовым туманом. Будто ночь минула, будто солнечный свет одолел тьму... Я смеялась и рыдала, как безумная... Мне вторило далекое эхо гор: словно горные духи выказывали мне свое сочувствие.

Михако схватил поводья и остановил Шалого... Минута... и я уже была у него в седле... Нас окружали папины казаки, разосланные на поиски за мною... Я видела при свете месяца их загорелые радостные лица. Михако плакал от счастья вместе со мною... Потом, будучи не в силах одолеть подступившей дремоты, я обняла грубо солдатскую шею Михако и... заснула...

... ..

Сон мой длился долго... Я слышала, однако, сквозь него, как мы ехали все быстрее и быстрее. Голова моя горела, как в огне, тело ныло... Я слышала, как мы выехали на берег, как шумела вода...

– Это Кура... – подсказывал мне сон, – значит, уже близко, значит, я уже скоро-скоро увижу папу!..

Вот мы поднимаемся в гору, вот опускаемся... еще... еще немного... и заскрипели ворота... забежали люди, что-то красное сверкнуло мне в глаза сквозь смежившиеся веки. Это огни... Слышны голоса, топот... Чей-то крик – не то отчаянный, не то радостный... Это Барбале, я узнаю ее голос... Потом кто-то торопливо бежит по аллее, и я слышу мучительно-вопрошающий, полный страдания голос:

– Где она? Жива ли?

Я делаю невероятное усилие и открываю глаза. Их почти ослепляет свет. Но все-таки я отлично вижу его. Он протягивает руки... Его лицо полно невыразимого счастья.

– Папа! – отчаянно кричу я и, рыдая, бьюсь на его груди.

– Дитя мое! дорогое мое дитя! – шепчет он между поцелуями и слезами и, предшествуемый людьми, несет меня в дом.

Он сам раздевает меня, не подпуская Барбале, кладет в постель и вдруг из груди его рвется не то стон, не то мольба, полная отчаяния:

– Скажи мне! поклянись мне, что никогда, никогда больше ты этого не сделаешь!

Я только наклоняю голову в ответ, потому что слезы давят мне горло и не дают произнести слова.

– Нет, нет, – говорю я, наконец, – никогда, клянусь

тебе дедой, отец, никогда!

Он видит глаза, красноречиво устремленные на портрет той, которую мы оба так любили, – на портрет моей дорогой матери – и вдруг, простерев к ней руки, он говорит глубоким, за душу хватающим голосом:

– А я клянусь тебе, Нина, что никогда другой деды не будет у тебя! Поняла ли ты меня, малютка?..

О, да, я поняла его, я поняла моего доброго, великодушного отца! Я поняла, что он догадался о причине моего бегства и решил искупить ее.

– А теперь расскажи мне все, – попросил он меня, – расскажи!

И я тотчас же исполнила желание моего дорогого. Все без утайки поведала я ему. Его глаза мрачно горели, когда дошла очередь до поступка Абрека.

– Ему не будет пощады, – проговорил он сквозь зубы и порывисто нежно обнял меня, как бы желая вознаградить этой лаской за все пережитые мною страхи.

– А Магома, папа! ведь если полиция поймает душманов, – они пощадят Магому?

– Ну, разумеется, дитя мое!.. Я сам буду хлопотать за твоего спасителя... А теперь усни... закрой свои глазки...

И ни одного упрека, ни одного, за все те мученья... которые я доставила ему. Сколько ласки, сколько

любви, сколько нежности!.. О, мой отец, мой дорогой отец, мой любимый!.. Чем только искупить мне мою вину перед тобою, мой необдуманный поступок?.. И я бранила себя и целовала его руки, эти нежные руки, гладившие мои щеки, мокрые от детских, сладостных слез...

Я уснула в эту ночь примиренная, радостная, счастливая...

## Глава XIV

### В путь-дорогу

Дни не шли, а бежали... Я замечала, что со времени моего побега из дому все как-то иначе стали относиться ко мне. Бабушка не бранилась, как бывало раньше, хотя недружелюбно поглядывала на меня. Расстроившаяся свадьба папы не давала ей покою. В этом она винила меня одну. Прислуга смотрела на меня теперь, как на взрослую. Барбале подолгу заглядывалась на меня не то с сожалением, не то с грустью. Я не могла понять, что это означало... Отец разговаривал со мною серьезно, не как с ребенком, с одиннадцатилетней девочкой, а как бы со взрослой девушкой.

– Ты мой друг, Нина, самый преданный и верный, – говорил он.

– Я твой друг, папа, и люблю тебя больше всего в мире, – пылко восклицала я.

Жизнь снова улыбалась мне, как в сказке... Исчезло малейшее облачко с моего горизонта, и счастье, полное и радостное, воцарилось в доме.

Но счастье не бывает продолжительно. Жизнь – не сказка, в которой розовые феи с золотыми посохами создают в один миг дворцы и замки для своих злато-

кудрых принцесс...

Так бывает только в сказке. В жизни – иное...

Папа приехал как-то расстроенный и встревоженный из полка.

– Княжна дома? – услышался его взволнованный голос.

– Я здесь, папочка-радость! – крикнула я и повисла у него на шее.

– Нина-джаночка, я должен потолковать с тобою серьезно, – проговорил он.

Мы прошли в его кабинет и я, как вполне благовоспитанная девочка, уселась на тахте, сложила на коленях руки и приготовилась слушать.

– Дитя мое, – начал он, – тебе 11 лет. Через 5–6 лет ты будешь взрослая барышня. Настала пора серьезно заняться учением. Ты должна быть хорошо воспитана и образована. Тебе предстоит бывать в обществе, вращаться в лучших кругах... А чему ты здесь выучишься? Разве только верховой езде и джигитовке, которые знаешь и так в совершенстве. Ты сама понимаешь, что для княжны Джавахи этого недостаточно... А дальше что, Нина? Бабушка не хочет заниматься твоим воспитанием, да она скоро оставляет Гори, мне же по службе придется теперь чаще отлучаться из дому. Сегодня в полку я получил об этом приказ. Оставлять тебя на попечение гувернанток и прислуги я не

желал бы... У меня не было бы тогда ни одной спокойной минуты... И вот что я придумал, джаночка... не пугайся только, здесь нет ничего страшного... Я придумал отдать тебя в институт в Петербурге. Отправив тебя туда, я буду спокоен, зная, что ты находишься под опекою опытных людей... Там у тебя будет много подруг, много девочек одного возраста с тобою... К тому же начальница института, княгиня Б., сестра моего товарища и моя старинная приятельница... Она полюбит тебя, как родную... Зиму будешь проводить там, лето дома... Согласна ли ты на это, детка?

Согласна ли была я? Согласна ли теперь, когда малейшее его желание стало для меня законом! Да и потом, я твердо сознавала всю неизбежность подобного решения. Мне самой хотелось учиться... Я слишком мало знала для своих лет, а мой пытливый, всем интересующийся ум – жаждал знания.

– Да, папочка, – твердо произнесла я, – ты хорошо придумал... только... пиши мне почаще и бери в Гори каждое лето...

Он обнял меня и обещал исполнить все мои желания.

С этого же дня поднялась сутолока и возня в доме. Мы должны были уехать через месяц... Барбале плакала, Михако смотрел мне в глаза, даже бабушкины слуги сочувственно покачивали головами, глядя на



меня. С отцом я была неразлучна... Мы ездили в горы, упиваясь нашим одиночеством, и наговаривались вдоволь во время этих чудесных прогулок.

А дни не шли, а летели... Как-то раз папа принес мне свежую новость. Шайку душманов окружили в горах и всех переловили. Они сидят в тюрьме и скоро их будут судить.

– А Магома? – вырвалось у меня.

– Магома будет свободен: я сам докажу его невинность, – успокоил меня отец.

Слова папы оправдались. Их судили и предали законной каре.

Магому освободили.

Он пришел к нам на следующий день и попросил вызвать отца.

Это было накануне нашего отъезда в далекую северную столицу. При виде нас он почтительно, по татарскому обычаю, приложил руку ко лбу и груди и весь бледный прошептал в волнении:

– Ага, будь добрым ко мне и возьми меня к себе... Магома будет тебе верным слугою.

– Как, Магома, разве ты не вернешься в Кабарду? – удивился отец.

– Нет, ага... Отроком ушел я оттуда и по желанию брата стал его помощником... Аллах видит, как тяжело мне было это... Ни одного пальца не обагрил Ма-

гома кровью... Теперь же мне нельзя вернуться в Кабарду... я освобожден, другие в тюрьме... может быть их уже казнили... С каким же лицом вернусь я один на родину?.. Скажут – не уберег брата...

– Твой брат был вождем душманов, Магома.

– Знаю, ага! но разве в Кабарде смотрят так же, как в Кахетии и Имеретии, на это дело? Там разбой – удаль, честь джигита... Его не осудят на родине. Им гордятся... а вот я...

– Что же ты хочешь, Магома? Я дал тебе, что мог, за спасенье дочери... Но ты вернул мне деньги обратно. Что ты хочешь? Для тебя все сделаю, что могу, – ласково говорил отец.

– Хочу, ага, служить тебе... и русскому царю, – сказал он просто, и глаза его с мольбою остановились на отце.

Отец, тронутый горячим порывом молодого кабардинца, обнял его и обещал исполнить его желание. Магома остался у нас помогать Михако до его определения в полк...

Наступил день отъезда.

Коляска стояла у крыльца. Барбале громко причитывала в кухне. Отец хмурился и молчал.

Я обежала весь дом и сад, спустилась к Куре, поднялась на гору, поклонилась дорогим могилкам и в десятый раз побежала в конюшню.

– Прощай, Шалый, прощай, мой верный друг! – шептала я, целуя лоснящуюся шею моего верного коня.

– Корми его хорошенько, – сказала я Михако, – чтоб будущее лето, к моему возвращению, вот у него какие бока были! Слышишь?

– Будьте покойны, княжна-матушка, будете довольны! – отвечал он, а у самого слезы стояли в глазах и подергивались губы.

К бабушке я пошла проститься тихо и чинно, но без всякого волнения. Единственное лицо на родине, которое я не жалела оставить, была бабушка. Зато с Барбале, благословившей меня образком святой Нины, с Родам, Анной, Михако и Брагимом я целовалась так искренне и крепко, что у меня распухли губы.

Я не плакала... Мою грудь теснило от слез, но они не выливались наружу.

– Прощай, Магома, прощай, мой спаситель, – улыбнулась я сквозь туман, застилавший зрение...

– Храни тебя Аллах, добрая госпожа!

Мы уже сели в коляску, когда впереди нас поднялось облако пыли и внезапно предстала верхом перед нами на лошади тоненькая баронесса в черной амазонке с длинным вуалем, окутывавшим белым облаком всю ее изящную фигуру.

– Я хотела проводить вас, Нина, и пожелать вам

всего, всего лучшего, – запыхавшись от быстрой езды, произнесла она, и потом, подъехав с моей стороны к коляске, быстро наклонилась, крепко обняла меня и прошептала смущенно: – и попросить вас, чтобы вы не сердились на меня и твердо верили, что я осталась вашим другом!

Сказав это, она исчезла снова так же быстро, как явилась. Уже издали раздался ее слабый окрик:

– Добрый путь, Нина, до свиданья!

Коляска тронулась... Провожавшие замахали платками... Кто-то заплакал... кто-то прокричал напутствие с именем Аллаха... Августовское утро смеялось доверчиво и ясно... Аромат спелых плодов насыщал воздух. В голубом пространстве купался улыбающийся Гори...

Прежняя жизнь кончилась, начиналась новая – лучшая или худшая, – не знаю.

# Часть вторая В ИНСТИТУТЕ

## Глава I В каменной клетке. Неожиданные враги

Я никогда не забуду того, что обещала... Я постараюсь быть доброй и прилежной...

– Правда ли, Нина?

– Разве я лгала тебе когда-нибудь, отец?

– Прости, голубка... Пора...

– Пора...

Мы стояли в светло освещенной небольшой приемной института, куда отец сегодня привез меня впервые.

Мы были не одни. Высокая, седая женщина, казавшаяся мне настоящей королевой, присутствовала при нашем разговоре. Она стесняла нас. Я видела, что папе хотелось сказать мне еще много, но он молчал, потому что высокая женщина была тут, и отец не мог быть при ней тем чудесным, добрым и нежным, каким

бывал в Гори.

– Итак, княгиня, – обратился он к начальнице, – я поручаю вам мое сокровище. Будьте снисходительны к ней... Это немного странный, но чрезвычайно чуткий ребенок... Она требует особенного ухода... Мы, южане, совсем иные люди, чем вы!

– Не беспокойтесь, князь, я лично позабочусь о вашей прелестной дочери, – произнесла высокая женщина и нежно погладила меня по щеке.

– Ну, пора!

Отец решительно поднялся с места, пристегнул шашку и крепко обнял меня. Я повисла у него на груди.

– До завтра, папа?

– До завтра, крошка... если княгиня позволит.

– О! – поторопилась успокоить его начальница, – для князя Джаваха наши двери открыты во всякое время!

Отец поклонился молча, еще раз поцеловал меня и, сказав: «До завтра», – быстро вышел из комнаты.

Я смотрела ему вслед – и сердце мое ныло... Я знала, что он приедет завтра, и послезавтра, и каждый день будет навещать меня, пока я не привыкну, но я расставалась с ним впервые среди чужой и новой обстановки.

Мой переезд от Тифлиса до Петербурга по желез-

ной дороге мало занимал меня. Вся душа моя рвалась назад, в пленительный Гори, в мое родное, покинутое гнездышко.

Около самого Петербурга я словно очнулась... Меня поразило серое, точно хмурающееся небо, на котором скупо светило северное солнце, и воздух без аромата роз и азалий, и чахлые деревья, и голые поля с пожелтевшею травой...

Когда я вышла из вагона, мое сердце забилося сильно, сильно... Серое небо плакало... Дождик моросил по крышам больших домов. Люди, в резиновых плащах, под зонтиками, показались мне скучными, некрасивыми – мне, привыкшей к ярким и живописным нарядам нашей страны...

Нас отвезли в лучшую гостиницу, где, несмотря на всю роскошь и удобство, я не могла уснуть от поминутного грохота колес под окнами.

Когда на следующий вечер папа отвез меня в институт и сдал на руки величественно-ласковой начальнице, я даже как будто чуть-чуть обрадовалась тому, что не буду видеть промозглого петербургского дня, не буду слышать грохота экипажей под окнами нашего номера... И я невольно высказала мои мысли вслух...

– Ну, и отлично! – обрадовался, в свою очередь, отец. – Ты умная девочка и не будешь слишком ску-

чать... Ведь учиться необходимо, дитя... да и потом – семь лет институтской жизни пролетят так быстро, что ты и не заметишь.

Семь лет!.. Боже мой, семь лет!.. Через семь лет мои черные косы дорастут до земли, и Шалый ослабеет от старости, а бедная Барбале, наверное, будет уже совсем седая!.. Семь лет!

– Пойдем, дитя мое, я познакомлю тебя с подружками, – прервала мои размышления начальница. – Ты увидишь, как тебе хорошо и весело будет расти и учиться с другими девочками.

Длинные коридоры потянулись передо мною. Всюду горели газовые рожки, ярко освещающие белые стены под мрамор, чисто отполированный паркетный пол и попадавшие мне по временам небольшие, в форменных зеленых платьях и белых передниках, фигурки институток. Они приседали перед начальницей робко и почтительно, опустив глаза, и спешили дальше.

Наконец, мы поднялись по широкой, застланной коврами лестнице и вступили в так называемый верхний коридор, где находились классы. Моя спутница вошла со мною в комнату, над дверью которой по черной доске было выведено крупным белым шрифтом: 7-й класс.

В тот же миг точно пчелиный рой оглушил меня сво-



им жужжаньем. Но это продолжалось лишь секунду. Девочки, учившие вслух уроки, болтавшие и смеявшиеся с подругами, мигом смолкли при входе начальницы. Они все вскочили со своих мест и, приседая, приблизились к нам. Между ними находилась маленькая, толстенная дама в синем платье.

– Дети! – торжественно произнесла княгиня и слегка выдвинула меня вперед, – вот вам новая подруга, княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Полюбите ее. Она приехала с далекого Кавказа и скучает по своей родине. Постарайтесь развлечь и успокоить ее.

Затем, обращаясь ко мне, начальница прибавила с ободряющей улыбкой:

– Ну, вот видишь, крошка, сколько веселых маленьких девочек! Верь мне, тебе не будет с ними скучно.

Классная дама в синем форменном платье приблизилась ко мне и протянула руку.

– Guten Abend, mein Kind!<sup>39</sup> – сказала она.

Я говорила по-немецки и занималась этим языком последний год с моей учительницей, но все-таки я сконфузилась почему-то и смущенно смотрела в полненькое, добродушно-улыбающееся лицо классной дамы.

Мамап – так называли институтки начальницу – еще раз взглянула на меня и ободряюще кивнула го-

---

<sup>39</sup> Guten Abend, mein Kind! – Добрый вечер, дитя мое! (нем.)

ловую. Потом, не желая, вероятно, мешать началу моего знакомства с товарками, крепко меня поцеловала, перекрестила и вышла из класса. За нею последовала и классная дама.

Опять поднялся шум, визг, беснование. Толпа девочек окружила меня со всех сторон, смеясь и забрасывая вопросами: «Кто ты? откуда? кто твои родители?»

Одна из них, самая шаловливая, пригнула на скамейку и оттуда запищала пронзительным голоском:

– Новенькая, новенькая, новенькая!

Другой понравились мои косы, и она бесцеремонно потянула их к себе. Я невольно пошатнулась и села.

– Как тебя зовут? – подскочила ко мне бойкая девочка с шустрым личиком и во все стороны торчавшими вихрами.

– Нина, – отвечала я просто.

– Нина, слышите ли вы! вот так ответ! У тебя нет фамилии, что ли? Слышите, mesdames'очки, ее зовут Нина, и учителя будут ее называть «г-жа Нина»... ха, ха, ха!.. – расхохоталась девочка.

– Ха, ха, ха! – вторили ей остальные.

Я не понимала, что тут смешного в том, что мое имя Нина.

– Ну-с, г-жа Нина, – не унималась шалунья, – а отец твой кто?

– Мой отец, – не без гордости ответила я, – извест-

ный по всему Кавказу генерал. Его имя князь ага Джаваха-оглы-Джамата.

– Как? как? Повтори.

– Ага Джаваха-оглы-Джамата, – повторила я, не замечая насмешки, блеснувшей в бойких глазках девочки.

– Джамата-татата!.. Вот так фамилия! – отчаянно захохотала шалунья.

Ей вторили остальные.

Вся кровь бросилась мне в лицо... Как? они смеют издеваться над именем, прогремевшим от Алазани до самого аула Гуниба! Над именем, покрытым боевою славой! Геройским именем, отличенным самим русским царем!.. О, это было слишком!.. Точно крылья выросли за моей спиной и придали мне силу. Я гордо выпрямилась.

– Слушайте вы, глупые девочки, – едва владея собою, произнесла я запальчиво, – не смейте смеяться над тем, чего вы не поймете никогда... А если еще раз кто-нибудь из вас осмелится перевернуть умышленно хоть одну букву в моей фамилии, я тотчас же отправлюсь к начальнице и пожалуюсь на шалунью.

– Ах, ты... – взбеленилась на меня девочка с вихрами. – Фискалка!

– Что?.. – злобно наступила я на нее, не поняв незнакомого слова, но смутно чувствуя в нем какое-то

оскорбление.

– Фискалка, – пискнула за нею вторая, третья, четвертая, и вся ватага расходившихся девочек запрыгала и заскакала вокруг меня.

– Фискалка!.. фискалка!.. злючка!.. злючка! фискалка!

Я зажала уши, чтоб ничего не слышать... Мое сердце болезненно ныло.

«Что я им сделала? – мучительно сверлило мой мозг, – за что они мучают и терзают меня? Неужели не найдется ни одной доброй души среди них, которая бы заступилась за меня?..»

Увы! – ни одной... Вокруг меня были только недружелюбные лица, к сердитые возгласы и крики раздавались в группе.

Вдруг дверь отворилась, и вошла классная дама... Пронзительный звонок возвестил час вечернего чая. Поднялся невообразимый шум, суматоха. Девочки торопливо становились в пары. Я же осталась, не двигаясь, на прежнем месте.

– Komm, mein Kind, her,<sup>40</sup> – услышала я оклик классной дамы и пошла на ее зов.

– Вот твоя пара, иди с нею.

И она подвела меня к высокой девочке, недружелюбно поглядывавшей на меня из-под белобрысых

---

<sup>40</sup> Komm, mein Kind, her – Пойди сюда, дитя мое (нем.).

бровей.

Пары двинулись... Я заметила, что воспитанницы идут под руку, и, нерешительно подвинувшись к моей соседке, протянула ей руку. Но она отскочила от меня как ужаленная и резко произнесла:

– Пожалуйста, не лезь... Я ненавижу фискалок.

Я поняла, что класс объявил мне войну. И мне стало невыразимо грустно.

– Новенькая!.. новенькая!.. – слышалось всюду между старшими и младшими классами, одинаково одетыми в зеленые камлотовые платья, белые передники и рукавчики наподобие трубочек, прикрепленных повыше локтя.

Столовая – большая, длинная комната, куда мы спустились по лестнице, – была уставлена двумя рядами столов, образующими широкий проход посредине.

Нам роздали кружки с коричневой жидкостью, очень мало похожей на чай, и порционные булки из невкусного пресного теста. Я не дотронулась ни до того, ни до другого.

– Ты татарка? – внезапно раздалось с дальнего конца стола, и та же бойкая девочка, изводившая меня в классе, не дождавшись моего ответа, насмешливо фыркнула в салфетку.

– Mesdam'очки, – продолжала она сквозь смех, об-

ращаясь к подругам, – она, наверное, татарка, а татарская религия запрещает есть свинину... Ты можешь радоваться, Иванова, – добавила она в сторону белокурой маленькой толстушки, – каждый раз, как будут подавать свиные котлеты, Джаваха отдаст тебе свою порцию.

Все девочки захихикали... Та, которую называли Ивановой, подняла голову и произнесла по адресу первой шалуни:

– А ты будешь смотреть и облизываться.

– Больше тебе ничего не запрещено твоей религией? – вмешалась в разговор хорошенькая миниатюрная девочка, удивительно похожая на белокурых ангелов, изображаемых на картинках, – а то я очень люблю пирожные...

И опять смех, обидный, мучительный. Я решила молчать и завтра же упросить папу взять меня отсюда куда-нибудь в другое место, в другой институт.

После долгой вечерней молитвы мы поднялись в четвертый этаж и вошли в дортуар.

Длинная, как и столовая, комната с выстроенными рядами постелями, примыкающими изголовьями одна к другой, была освещена газовыми рожками. Между кроватями было небольшое пространство, где помещались ночные шкапики и табуреты.

Fraulein Геринг, или Кис-Кис, как называли инсти-

тутки классную даму, ласково указала мне мое место.

Судьба решительно восстала против меня: в головах моих помещалась постель злой девочки с ангельским личиком, а рядом со мною была постель шустрой Бельской – моего главного гонителя и врага.

Делать было нечего, и я твердо решила все стерпеть безропотно...

Между тем вокруг меня кишмя кишела жизнь. Сняв свои неуклюжие зеленые платья, воспитанницы очутились в коротеньких нижних юбочках и белых кофточках, а на голове их красовались смешные чепчики, похожие на колпачки гномов, странно старившие и безобразившие юные личики.

Я прошла вместе с другими в умывальную. Там было еще шумнее. Девочки, обнаженные до поясницы, мылись так усердно жесткими перчатками из люфы, что спины их напоминали цветом спелые помидоры.

– Душка, не брызгайся! – слышалось в одном конце умывальни.

– Кира Дергунова, одолжи твою губку, – неслось с другого конца.

Кира протягивала губку, выжимая ее по дороге как бы нечаянно на спину соседки... Крик... визг... беготня. В углу около комода с выдвинутой из него постелью для прислуги высокая, стройная, не по годам серьезная Варюша Чикунина, прозванная за свое пение

Соловухой, стоя, расчесывала свои длинные шелковистые косы и пела вполголоса:

Ах, ты, Русь моя,  
Русь привольная...

Девочка с таким нежным голоском и мечтательными глазами не могла быть злою, по моему мнению, и потому я смело подошла к ней и спросила:

– Не знаете ли, за что меня здесь возненавидели?

Она внезапно оборвала песню и вскинула на меня удивленные глаза.

Я повторила вопрос.

Но в ту же минуту к нам подскочила рыженькая воспитанница с удивительно белым личиком и дерзко крикнула мне в лицо:

– Потому, что ты хотела на нас жаловаться, а мы ненавидим фискалок.

– Но если вы оскорбляете меня!.. Княжна Джаваха не прощает оскорблений, – надменно ответила я.

– Ха-ха-ха! – рассмеялась Краснушка, как называли подруги рыженькую девочку, – скажите, как важно!.. Княжна Джаваха! Да вы знаете ли, mesdam'очки, что на Кавказе у них все князья. У кого есть два барана – тот и князь.

– Тише, Запольская. И не стыдно тебе обижать



новенькую, – вмешалась незаметно подошедшая Fraulein Геринг и тотчас же добавила, хлопнув в ладоши:

– Schlafen, Kinder, schlafen!<sup>41</sup>

Вся ватага девочек направилась в спальню. В умывальной остались я и певунья Чикунина. Она робко оглянулась кругом и, увидя, что мы одни, быстро заговорила:

– Вы не обращайтесь внимания на них, у нас принято «травить новеньких»... Глупые девочки, потом они отстанут, когда вы привыкнете...

– Я никогда не привыкну здесь, – с трудом сдерживая слезы, ответила я, – завтра же я попрошу папу взять меня отсюда и поместить в другой институт...

– И напрасно! – прервала меня Чикунина, быстро доплетая тяжелую косу, – напрасно!.. В другом институте повторится то же самое... нельзя же в третий поступать... да и там то же... Тут, по крайней мере, тапан – дуся, а там, в остальных, Бог вещь какая. Вот сестра мне пишет из N-ского института, чем их там кормят... ужас!..

– Ваша светлость, – неожиданно произнесла точно из-под земли выползшая Бельская, – Fraulein послала меня звать спать вашу светлость. Имею честь довести сие до сведения вашей светлости, – и она отве-

---

<sup>41</sup> Schlafen, Kinder, schlafen! – Спать, дети, спать! (нем.)

сила мне насмешливо-почтительный реверанс.

Я вспыхнула до корней волос.

– Это ничего, – успокаивала меня моя новая знакомая, – стерпите уж как-нибудь... а там они сами увидят свою глупость, сами придут к вам с повинной. И потом, видите ли, княжна, у вас... вы не рассердитесь на мою откровенность?

– Нет, нет, – поспешила я ответить.

– Видите ли, у вас такой вид, будто вы куда лучше и выше всех нас... Вы титулованная, богатая девочка, генеральская дочка... а мы все проще... Это и без того все видят и знают. Не надо подчеркивать, знаете... Ах да, я не умею говорить! вы меня, пожалуй, не поймете, обидитесь... – неожиданно оборвала она и вздохнула.

– Нет, нет, напротив, говорите, пожалуйста, – поспешила я ее успокоить.

– Ну вот... они и злятся... а вы бы попроще с ними...

– Schlafen, Kinder, schlafen! – еще раз окликнула нас Fraulein.

Как только мы вошли в спальню, девушка-служанка уменьшила свет в газовых рожках, и дортуар утонул в полумраке. Наступила тишина. Изредка только раздавался где-нибудь задавленный шепот, да с легким шумом передвигалась попавшаяся под руку табуретка. Поминутно то на одной, то на другой постели поднимались небольшие детские фигурки, укутанные до

пояса в синие нанковые одеяла и, сложив на груди руки, набожно молились, кладя поклоны. Классная дама, тихо ступая, ходила по узким пространствам между рядами кроватей, «переулкам», как их называли в институте, и наконец, пожелав нам доброй ночи, исчезла за дверью своей комнаты, помещавшейся под ле дортуара.

Лишь только затихли ее осторожные шаги, Бельская поднялась на локте со своей подушки и произнесла звонким шепотом на всю спальню:

– Тише, mesdam'очки, а то вы мешаете спать ее светлости, сиятельной княжне.

Девочки слабо фыркнули.

– Ее светлость княжна почивают, – тем же шепотом произнесла она снова.

– Оставь ты татарскую княжну, Белка, – подхватила со своего места рыженькая Запольская, – не мешай ей творить свой вечерний намаз. Когда я была в Мцхете...

«Она была в Мцхете! В Мцхете – древней столице родимой Грузии, в Мцхете, так близко расположенном от милого Гори, в самом сердце моей родины... Она была в Мцхете...» – вихрем пронеслось в моей голове.

Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я в один миг соскочила с постели, подбежала к кроватке Крас-

нушки, взобралась на нее, как была, босая, в одной сорочке, и, усевшись в ногах девочки, спрашивала дрожащим от радостного волнения голосом:

– Вы были в Мцхете? Неужели вы были в Мцхете?

Мне казалось теперь, что я давно знаю и люблю эту рыженькую воспитанницу, так бессердечно трунившую надо мною всего несколько минут тому назад. Ведь она была в Мцхете, она видела мою родину, мое бирюзовое небо, мои изумрудные долины и высокие горы, подернутые розоватым туманом, далекие горы с седыми вершинами!..

Краснушка не разделяла, казалось, моего восторга. Она как будто даже испугалась меня и, чтобы скрыть свое смущение, расхохоталась громко на весь дортуар не совсем, впрочем, естественным смехом.

– Mesdam'очки, светлейшая татарка рехнулась. Карр-раул!

Дверь соседней комнаты широко распахнулась. На пороге появилась Fraulein Геринг.

– Wer schreit so? Bist du, Запольская? Schande!<sup>42</sup> Завтра ты будешь наказана.

Дверь захлопнулась снова... Краснокудрая девочка, пугливо юркнувшая под одеяло при появлении классной дамы, теперь снова высунула из-под него

---

<sup>42</sup> Wer schreit so? Bist du, Запольская? Schande! – Кто это так кричит? Это ты, Запольская? Это стыд! (нем.)

свою лисью головку и сердито проговорила мне:

– Все из-за вас... Убирайтесь, пожалуйста!

Я молча спрыгнула с ее постели и пошла к себе. Мне было стыдно и больно за то, что я не сумела скрыть моего порыва перед всеми этими злыми, безжалостными девчонками. Молча легла я в свою постель, зарылась в подушку с глазами полными слез, и... тотчас же в моей памяти возникли дорогие картины...

Передо мною мелькнул Гори... наш дом, окруженный тенистым, благоухающим садом... тихо ропчущая Кура... Барбале, от которой всегда пахло свежим тестом и ореховым маслом... хорошенькая Бэлла... бабушка... Брагим... Магома... папа... А надо всем этим, надо всей моей чудесной кавказской природой, благоухающей и нежной, носился пленительный образ с печальными глазами и печальными песнями, – образ моей красавицы-деды...

## Глава II

### Уроки. Травля. Последнее прости

Дребезжащий звонок разбудил меня.

Мигом вскочила я, забыв, почему и зачем я нахожусь здесь, почему бегают и смеются эти сердито-сонные девочки в потешных колпачках и ночных кофточках.

– Пора вставать, Джаваха, – пробегая мимо моей постели, шепнула мне моя вчерашняя собеседница Чикунина.

Я поспешила натянуть на ноги чулки, накинуть юбочку и побежала умываться.

В 8 часов к нам поднялась высокая, худая, как жердь, французская дама, m-lle Арно. Я подошла к ней по совету той же Чикуниной и присела.

– Bonjour, mademoiselle! – сухо произнесла она, – надеюсь, вы скоро привыкнете к нашим порядкам и станете примерною ученицей.

Потом, зорко оглядывая класс, она спросила:

– Кто дежурная?

Выступила очень худенькая, не по годам серьезная девочка.

– Это наша первая ученица, Додо Муравьева, – пояснила мне Варя Чикунина, вставшая, по моей прось-

бе, со мною в пару.

Я с невольным уважением взглянула на худенькую девочку и втайне позавидовала ее выдержанности.

Между тем, пары двинулись в столовую. Сегодня меня уже не так оглядывали старшие и младшие классы: событие поступления новенькой за полусуточной давностью, казалось, потеряло весь свой интерес.

Первый урок был батюшкин. Я узнала это за столом, в то время как с трудом заставляла себя выпить жидкий, отдающий мочалою чай и съесть казенную сухую булку. Узнала и то, что Закону Божию все учились прилежно и что дружно «обожали» батюшку, относившегося равно отечески-справедливо ко всему классу. Сегодня меня, казалось, оставили в покое, только рыженькая Запольская сердито-насмешливо бросила в мою сторону:

– Ты можешь не торопиться, Джаваха, ведь тебя, как татарку, не пропустят на урок Закона Божия. А вашего муллу еще не успели выписать с Кавказа.

Девочки дружно прыснули, но я, помня наставление Чикуниной, сделала равнодушное лицо и продолжала пить мутный чай из фаянсовой кружки.

Батюшка оказался таким, каким я его себе мысленно представляла: небольшого роста, седенький, с невыразимо кротким лицом и ласковыми глазами, – он производил отрадное впечатление.

Тихо вошел он по звонку в класс, тихо велел дежурной прочесть молитву, тихо сел за приготовленный ему перед партами столик с чернильницей и журналом и надел очки. Потом окинул весь класс ласковым взглядом и остановил его на мне, одиноко сидевшей на ближней скамейке.

– А я вижу, новенькая у вас?

Я встала.

– Как ваша фамилия, деточка? – обратился он ко мне тем же ласковым голосом, от звуков которого точно много легче становилось на сердце.

Я хотела по обыкновению сказать мой полный титул, но, вспомнив совет Чикуниной, просто ответила:

– Нина Джаваха.

– Княжна! – пискнул за мною чей-то насмешливый голосок.

– Как же, слышал, – закивал головою батюшка, – князя Джаваха известны по всему Кавказу... Как же, как же, в войне с горцами отличались... Князь Михаил Джаваха драгоценную услугу оказал главнокомандующему и пал в бою... Не родственник ли он вам, деточка?

– Князь Михаил – мой родной дедушка, – вырвалось с невольным порывом гордости из моей груди.

Вероятно, глаза мои и щеки разгорелись от прилива необычайного счастья. Я торжествовала.



«Слышите! – хотелось мне крикнуть всем этим при-  
смирившим воспитанницам, – слышите! мои предки –  
славные герои, мой дед пал в бою за свободу родины,  
и вы, злые, ничтожные, маленькие девочки, не имее-  
те права оскорблять и обижать меня, прирожденную  
грузинскую княжну!..»

И голова моя гордо поднималась, а на губах уже  
блуждала надменная улыбка.

Но вдруг мои глаза встретились с чистым и откры-  
тым взглядом отца Филимона.

«Вправе ли ты гордиться славою твоих предков? –  
казалось, говорил мне его кроткий взор, – и какая твоя  
заслуга в том, что родилась ты в знатной княжеской  
семье, а не в хижине бедняка?»

Краска стыда залила мне щеки. И батюшка понял,  
казалось, меня. Новой удвоенной лаской загорелся  
его приветливый взор.

– Пойдите-ка сюда, чужестраночка, – улыбнулся  
он, – да расскажите-ка, что знаете о сотворении ми-  
ра...

Я вышла на середину класса.

Историю сотворения мира я знала отлично. Я ча-  
сто рассказывала ее Барбале, не знавшей ни Ветхо-  
го, ни Нового Завета. Моя речь, всегда немного образ-  
ная, как и все речи на милом Востоке, понравилась  
батюшке. Понравилось, должно быть, толковое изло-

жение и моим товаркам, но они, казалось, не хотели выказывать этого и продолжали поглядывать на меня косо и недружелюбно.

– Хорошо, чужестраночка, молодец! – похвалил меня батюшка, отпуская на место.

За мною вышла Додо Муравьева и внятно, и громко прочла канон Богородице.

– Хорошо, Дуняша, – похвалил и ее батюшка.

Недоброе чувство зависти толкнулось в мое сердце по отношению к худенькой Додо, заслужившей одинаковую похвалу со мною.

Между тем священник встал, оправил рясу и, подойдя к первой парте, положил на голову белокурой Крошки свою большую, белую руку.

«Почему он ласкает эту маленькую девочку с ангельским личиком и злым сердечком? – мелькнуло у меня в мыслях. – Если б он знал, как смеется она заодно со всеми над бедной чужестраночкой!»

А из груди батюшки уже лилось плавное, складное повествование о том, как завистливые братья продали в рабство кроткого и прекрасного юношу Иосифа. И все эти девочки, бледные и розовые, худенькие и толстенькие, злые и добрые – все с живым, захватывающим вниманием вперили в рассказывающего батюшку горевшие любопытством глазки.

Отец Филимон ходил между партами, поочередно

клял свою большую руку на голову той или другой воспитанницы и гладил поочередно ту или другую детскую головку.

Когда очередь дошла до меня и мои черные косы накрыл широкий рукав лиловой рясы, я еле сдержалась, чтобы не расплакаться навзрыд.

Это была первая ласка в холодных институтских стенах...

Вторым уроком была география.

Маленький, седенький учитель Алексей Иванович был очень строг со своей «командой», как называл он, шутя, воспитанниц. Он постоянно шутил с ними, смешил их веселыми прибаутками, именуя при этом учениц «внучками». И в то же время был взыскателен и требователен к их ответам.

– А ну-ка, пригожая, прокатимся по Амуру.

Вызванная ученица уже понимала, чего хотел от нее Алексей Иванович, и, бойко водя черной линейкой по дырявой старой карте, нараспев пересчитывала притоки этой сибирской реки.

Лености Алексей Иванович не терпел.

– На место пошла, лентяйка, унывающая россиянка, вандалка непросвещенная, – бранился он самым искренним образом, не стесняясь ни классных дам, ни самой начальницы.

Увидя меня, он тотчас же произнес:

– А-а! моя команда увеличилась... Ну-ка, позабавь чем знаешь! – кивнул он в мою сторону.

Рек Сибири, заданных к этому дню, я, конечно, не могла знать, но зато как ловко отбарабанила я мои родимые кавказские реки, горы с их вершинами, и города Кахетии, Имеретии, Гурии и Алазании! Я торопилась и захлебывалась, боясь не успеть высипать до конца урока весь запас моих познаний. Он не перерывал меня и только одобрительно взглядывал поверх своих синих круглых очков.

– Ишь ты! чего только не наговорила, – с довольным смехом сказал он, когда я кончила. – Ну, внучка! одолжила! Спасибо, матушка!.. Ну, а вы, здесь сидящие и нимало несмыслящие, слыхали? – обратился он к притихшему классу. – Ведь забьет вас, как Бог свят, забьет эта прыткая грузиночка.

– Она татарка, Алексей Иванович, – раздался пискливый голосок Бельской.

– А ты – лентяйка! – оборвал ее учитель. – Татаркой-то быть не стыдно, так Бог сотворил... а вот лентяжкой-то... великое всему нашему классу посрамление. А ну-ка, для подтверждения моих слов, позабавь, пригожая!

Но пригожая не позабавила! Урока она не знала по обыкновению, и в журнальной клеточке против ее фамилии воцарилась жирная двойка.

– И даже с точкой! – шутил неумолимый в таких случаях Алексей Иванович и с особенным старанием подле двойки поставил точку.

Бельская, идя на свое место, метнула на меня разгоревшимися глазами...

Дребезжащий звук колокольчика возвестил об окончании урока.

После десятиминутной перемены строгого и взыскательного Алексея Ивановича сменил быстрый, как ртуть, и юркий старичок-француз Ротье. Едва он уселся на кафедре, как ко мне подошла классная дама и шепнула, чтобы я шла в гардеробную переодеться в казенное платье.

– Муравьева, – обратилась она так же тихо к худенькой, серьезной Додо, – вы проводите новенькую в гардеробную.

– Пойдемте, – подошла ко мне та, и, отвесив по низкому реверансу учителю, мы вышли из класса.

Спустившись в первый этаж, мы очутились в полутемном коридоре, к которому примыкали столовая, гардеробная и бельевая, а также комнаты музыкальных и рукодельных дам.

– Вот сюда, – коротко бросила Додо и толкнула какую-то дверь.

Мы вошли в светлую комнату, где работало до двадцати девушек, одинаково одетых в полосатые пла-

тья.

– Авдотья Матвеевна, – обратилась Додо к полной женщине в очках, – я привела новенькую, княжну Джаваха.

При последних словах Додо гардеробная дама, или просто «гардеробша», как ее называли девушки-работницы, вскинула на меня глаза поверх очков, и все ее лицо расплзлось в любезную улыбку.

– Пожалуйста, ваше сиятельство, милости просим, – сказала она.

Мне были неприятны и этот слащавый тон, и эта приторно-льстивая улыбка. Мельком взглянула я на Додо, желая убедиться, не смеется ли она надо мною. Но лицо девочки было по-прежнему бесстрастно и серьезно.

Грубое белье, уродливые прюнелевые ботинки и тяжелое, парусом стоящее камлотовое платье – все это показалось мне ужасно неудобным в первые минуты.

Пелеринка поминутно сползала на сторону, манжи (рукавчики), плотно завязанные тесемочками немного выше локтя, резали руки, а ноги поминутно путались в длинном подоле.

На обратном пути, проходя с тою же Додо мимо швейцарской, по дороге в класс я увидела высокую, статную фигуру отца за стеклянной дверью.

«Узнает папа или не узнает в этом новом одеянии свою Нину?» – мелькнула в моей голове быстрая, как молния, мысль, и с сильно забившимся сердцем я повернулась лицом к двери.

В ту же минуту широкая, радостная улыбка осветила лицо отца.

Он стремительно открыл стеклянную дверь, разделявшую нас, и, протянув вперед руки, громко и радостно крикнул:

– Нина!

Я упала в его объятия.

– Ну, что? ну, что? – спрашивал он, в то время как глаза его любовно и ласково разглядывали меня.

– Нет, ты скажи мне, как ты узнал меня? как ты меня узнал, мой папа? – приставала я, смеясь сквозь слезы.

– Злая девочка, – с дрожью в голосе отвечал он, – неужели ты хоть одну минутку сомневалась, что твой папа не узнает своей джанночки?

О, нет, я не сомневалась! ни минуты не сомневалась! Я прильнула к нему и рассказывала ему быстро, быстро, словно боясь потерять время, о том, какой громадный наш институт, сколько в нем девочек, как добр наш батюшка, как ласкова татап и какой чудесный, за душу хватающий голосок у Варюши Чикунинной!

О том, как я мучилась одиночеством, как недобро обошлись со мною мои одноклассницы и как твердо решила я перейти в другой институт, – я промолчала.

Мне не хотелось опечалить беззаветно любящего меня отца...

И на его вопрос: хорошо ли тебе здесь, Нина? – я отвечала твердо, без запинки:

– Да, мне хорошо, папа!..



## Глава III

# Последнее прости. Обыск

Это была маленькая, совсем маленькая книжечка, с белыми, чистыми страницами, но если посмотреть на свет, то на белых чистых страницах обрисовывались смешные фигурки маленьких карикатурных человечков.

Лидочка Маркова, или Крошка, как ее называли в классе, владелица книжечки, привезла ее из-за границы и показывала всем с особенной гордостью эту изящную и интересную вещицу.

И вдруг книжечка пропала.

Еще на уроке monsieur Ротье Крошка пересылала ее к Вале Лер, которая не успела рассмотреть ее в перемену. После урока мы вышли в коридор, пока проветривались классы. Внезапно подбежала к группе седьмушек красная, как зарево, Крошка, заявляя всем, что ее книжечка исчезла.

Поднялся гвалт невообразимый... Я не могла как следует понять, на чем порешили девочки, потому что в эту минуту передо мной появился важный, внушительного вида институтский швейцар Петр.

– К папаше пожалуйста! Их сиятельство внизу дожидаются, – возвестил он мне.

Сломав голову, перепрыгивая через три ступеньки, я бросилась в приемную.

Уже больше недели прошло со дня моего поступления в институт, а папа все еще жил в Петербурге. Сегодня он пришел в последний раз. В этот же вечер он должен был пуститься в обратный путь.

Я бросилась в его объятия... Мы говорили тихо-тихо, точно боясь, что нас услышат.

– Папа, ненаглядный мой, дорогой, – шептала я, обнимая его шею, – я буду хорошо учиться, буду стараться, для того чтобы ты мог гордиться мною!

– Спасибо, деточка, спасибо, но только не надрывай своих силенок... А лето опять вместе, да?.. Что передать Шалому? – улыбнулся он сквозь застилавшие его глаза слезы.

Мой отец – рубака и воин, смело водивший полк на усмирение восставшего аула, – теперь плакал при расставании со своей маленькой девочкой горькими, тяжелыми слезами!

– Вот, Нина, – сказал он, снимая с груди своей маленький золотой медальон, – носи на память о твоём папе и о покойном дэде.

И, не дав мне опомниться, он надел мне его на шейную цепочку, на которой уже висел образок святой Нины, этот медальон с портретами покойной мамы и моим собственным, на котором я была изображена в ко-

стюме маленького джигита.

Отец отдал мне самую дорогую, самую близкую сердцу вещь!..

Мы крепко обнялись...

– Передай Барбале, Михако... Шалому... да, даже Шалому, он должен понять... что я люблю их крепко, крепко и буду думать о них постоянно... – с возрастающим волнением говорила я.

Миг разлуки приближался... И вдруг внезапно выплыл в моей памяти мой безумный поступок с бегством... Мне хотелось еще раз услышать из уст моего отца, что он вполне простил сумасшедшую маленькую Нину, и я тихонько, на ушко шепнула ему об этом, еще раз прося у него прощения.

– О, моя детка! – мог только произнести он в ответ и обнял меня крепко последним прощальным объятием...

Он был уже в швейцарской, а я все еще стояла на одном месте, не в силах двинуться, ни пошевелиться, так глубоко было охватившее меня волнение. И только увидя генеральское пальто моего отца в руках швейцара, я словно очнулась от моего столбняка, опрометью бросилась к нему и застыла без слез, без стоны на его груди.

Горе, разрывавшее мое сердце, было слишком сильно, чтобы вылиться слезами... Я точно окамене-

ла...

Как сквозь сон почувствовала я на своем лбу его благословляющую руку, его поцелуи, смоченные слезами на моих щеках, и что-то точно сдавило клещами мою грудь и горло...

– До свиданья, Нинуша, до свиданья, крошка-джаным, до свиданья, чеми-потара, сакварелла!

И, еще раз поцеловав меня, он стремительно направился к выходу. Я видела, как удалялась его статная фигура, как он оглядывался назад, весь бледный, с судорожно подергивающимися губами, и только молча с мольбою протянула к нему руки. Он тоже оглянулся и в ту же минуту был снова подле.

– Нет, я так не уеду! – стоном вырвалось из его груди. – Ну, радость, ну, малюточка, хочешь – едем со мною?

Хочу ли я! Он спрашивал хочу ли я?.. О, Боже всемогущий! Я готова была крикнуть ему, рыдая: «Да, да, возьми меня, возьми отсюда, мой дорогой, мой любимый отец! Тут, в институте, ночь и темень, а там, в Гори, жизнь, свет и солнце!»

И я уже готова была просить его взять меня обратно в мой Гори, но внутренний голос, голос джаваховской крови, вовремя остановил меня:

«Как! Нина – потомок славных кавказских героев – неужели ты не можешь найти в себе достаточно муже-

ства, чтобы не опечалить отца? Стыдись, маленькая княжна, имеющая дерзость считать себя джигиткой!»

Этого было достаточно, чтобы придать мне мужества.

– Не грусти, папа, – вырвалось у меня твердо, как у взрослой, и, поцеловав его еще раз, я добавила, сделав над собой усилие, чтоб не разрыдаться:

– Лето не за горами! Скоро увидимся... И не заметим, как пройдет время!..

О, как трудно мне было походить на моих предков! Я поняла это, когда уже отца не было со мною... Как только тяжелая входная дверь захлопнулась за ним, я прижалась к высокой колонне и, зажав рот передником, разразилась глухими судорожными рыданиями...

Когда я, досыта наплакавшись, вошла в класс, меня поразило странное зрелище.

На классной доске висел маленький золотой крестик, очевидно, снятый с чьей-нибудь шеи, и девочки, став длинной шеренгой, подходили и целовали его по очереди.

– Видишь ли, Джаваха, – обратилась ко мне, при моем появлении, Валя Лер, прелестная голубоглазая и беленькая, как саксонская куколка, девочка.

– У Крошки пропала книжечка. Крошка не выносила книжечку из класса, значит, ее взял кто-нибудь из де-

вочек. Стыд и позор всему классу! Между нами воровка! Этого никогда еще не было. Таня Петровская посоветовала нам целовать крест, чтобы узнать воровку. Воровка не посмеет подойти к кресту... Или ее оттолкнет от него... или вообще произойдет что-нибудь чудесное... Становись, Джаваха, в шеренгу, сзади Мили Корбиной, и целуй крест.

Мои мысли были еще там, в маленькой приемной, около отца. Последние слова прощанья звенели в моих ушах, и я едва слышала, что мне говорила Валя. Ей пришлось повторить.

С трудом наконец я поняла, чего от меня хотели: у кого-то пропала книжечка... подозревают каждую из нас... велят присягать...

Возмущенная и потрясенная до глубины души, я обратилась к классу:

– Я не знаю никакой книжки и не буду шутить священными предметами. Это богохульство!

– Но весь класс... – попробовала настаивать Лер.

– Мне нет дела до глупостей класса, – продолжала я гордо, – каждый отвечает сам за себя. Креста целовать я не стану, потому что это грешно делать по пустякам, да еще по ребяческой выдумке глупых девочек.

Едва я успела произнести эти слова, как все вокруг меня запищало, загалдело и зашумело.

– Как! она еще смеет отнекиваться, смеет идти против класса, когда весь класс решил! – слышался отовсюду несмолкаемый ропот.

Я презрительно пожала плечами и отошла в угол.

Девочки, вдоволь накричавшись и нашумевшись, снова принялись за прерванное занятие. Они подходили по очереди к золотому крестику и целовали его. Валя Лер, в качестве благородного свидетеля, серьезно и важно следила за выполнением присяги. Наконец, когда все уже приложились к кресту, она громко заявила на весь класс:

– Это неслыханная дерзость: воровка или подошла к кресту, или...

– Ну, а теперь все к своим партам, – скомандовала, прервав ее, Бельская, – и открывайте ящики. Если воровка не призналась, надо сделать обыск.

И вмиг все 40 девочек быстро кинулись к своим местам и подняли крышки пюпитров.

Я одна не двинулась с места.

– Джаваха, – дерзко крикнула мне Запольская, – или ты не слышала? Открой свой ящик.

Вся кровь бросилась мне в голову...

Открыть ящик, позволить обыскать себя, позволить заподозрить в... страшно подумать даже, а не только вымолвить это слово...

– Нет! я не позволю обыскивать мой ящик, – возра-

зила я резким и громким, точно не своим голосом.

– Что? – недобро усмехнулась хорошенькая Лер, – ты и в этом идешь против класса? Но уже тут нет никакого богохульства! Не правда ли, mesdames?

– Нет, но все-таки я обыскивать себя не позволю, – твердо проговорила я.

– Mesdam'очки, слышите ли, что она говорит? – взвизгнула Крошка, молча следившая до сих пор за мною злыми, недружелюбными глазами. – Как же нам поступить теперь?

– Да что тут много разговаривать! Просто открыть ее пюпитр, – горячилась рыженькая Запольская.

Я вспыхнула и оглянулась кругом. Ни одного сочувствующего лица, ни одного ласкового взгляда!.. И это были дети, маленькие девочки, слетевшиеся сюда еще так недавно с разных концов России, прощавшиеся со своими родителями всего каких-нибудь два месяца тому назад так же нежно, как я только что прощалась с моим ненаглядным папой! Да неужели их детские сердечки успели так зачерстветь в этот короткий срок?..

Вот на последней парте сидит Варя Чикунина. Она что-то прилежно дописывает в свою тетрадку. Неужели и она против меня – она такая ласковая и кроткая... Вот в другом углу Миля Корбина – некрасивая, болезненная, мечтательная девочка. Эта смотрит на меня



своими кроткими голубыми глазками, но в них я читаю скорее упрек, нежели сострадание. «Что тебе стоит открыть твой ящик и доказать, что они ошибаются?» – говорят эти кроткие голубые глазки. «Нет, – красноречиво отвечают мои глаза, – тысячу раз нет! – я не позволю обыскивать мой ящик!»

А девочки вокруг меня шумят и волнуются с каждой минутой все больше и больше.

– Бельская, – слышится мне голос Краснушки, – ступай открывать тируар Джавахи.

– Что?!

И в один миг я очутилась у моей парты и даже присела на край ее, чтобы ничья дерзкая рука не посмела поднять крышки.

Тогда из толпы выдвинулся мой враг – Бельская.

– Слушай, Джаваха, – спокойно, чуть-чуть примириительно произнесла она, – почему ты не хочешь позволить обыскать тебя?.. Ведь Додо, Корбина, Лер, Петровская – весь первый десяток наших лучших учениц, наши парфетки,<sup>43</sup> записанные на красной доске, позволили проделать это... а уж если они.

– Бельская, – перебила я ее, – в делах чести не может быть ни первых, ни последних учениц. Ты глупа, если не понимаешь этого... Княжна Джаваха нико-

---

<sup>43</sup> Парфетки – от *parfait* (фр.) – совершенные, безукоризненные. (Примеч. сост.)

гда не позволит заподозрить себя в чем-либо нечестном...

– Если княжна Джаваха не позволит сейчас же открыть свой пюпитр, то, значит, мою книжку украла она!.. – услышала я резкий и неприятный голос, и ангельское личико Крошки, перекошенное злой гримаской, глянуло на меня снизу вверх.

Тируары, парты, кафедра, стены и потолок – все заплясало и запрыгало перед моими глазами. Девочки уплыли точно куда-то, в туман, далеко, далеко, и я увидела их уже где-то над моей головой... И в ту же минуту точно темная завеса заволокла мое зрение...

## Глава IV

### Фея Ирэн в лазарете

Большая незнакомая комната с кроватями, застланными белыми покрывалами, тонула во мраке сентябрьской ночи.

Я лежала в постели с компрессом на голове, и все мое тело болело и ныло.

– Где я? – вырвалось у меня невольно, и я стала дико оглядываться, присматриваясь к незнакомой обстановке.

– В лазарете, барышня, будьте покойны, – ответил мне чей-то старчески дрожащий голос.

– Кто вы?

– Я, Матенька.

– Да кто же, Господи? Я ничего не понимаю.

Тогда говорившая поднялась с табуретки, и при бледном свете месяца, заглядывавшего в окна, я увидела маленькую сморщенную старушку в белом чепчике и темном платье.

– Кто вы? – еще раз спросила я ее.

– Матенька, сиделка здешняя... Вот выпейте, княжна-голубушка, лекарствица – вам и полегчает, – тихо и ласково проговорила незнакомая старушка, протягивая мне рюмочку с какой-то жидкостью.

– Зачем же лекарство? Разве я больна? – взволновалась я.

– Ну, больна не больна, а все же прихворнули малость. Да это не беда! Франц Иванович живо вас на ноги поставит. Завтра же выпишетесь. Выпейте только капельки, и все как рукой снимет.

Я покорила и, приняв из ее рук рюмку, проглотила горькую, противную микстуру.

– Ну, вот и отлично! А теперь с Богом бай-бай, а я тоже пойду прилягу, благо дождалась вашего пробуждения, да дала вам лекарства.

«Какая она славная, добрая, и какое у нее чудесное, милое лицо, – подумала я невольно. – Барбале такая же старенькая, но у нее нет этих морщинок вокруг глаз, точно лучами окружающих веки и придающих всему облику выражение затаенного добродушного смеха».

Она нагнулась ко мне, перекрестила меня совсем по-домашнему, как это делала Барбале, и сказала:

– Спи, дитячко... Господь с тобою!

Сладко забилося мое сердце при этой бесхитростной ласке лазаретной сиделки, и бессознательно, обвив руками ее шею, я шепнула:

– Какая вы добрая, точно родная! Я уже люблю вас!

– Спасибо, матушка, красоточка моя, что приласкала меня, старуху... – растроганно произнесла Ма-

тенька и, заботливо укрыв меня одеялом, поплелась к себе, покашливая и чуть слышно вздыхая.

Я улеглась поудобнее и стала смотреть в окно. Неспущенная штора позволяла мне видеть высокие деревья институтского сада и площадку перед лазерными окнами, всю ярко освещенную луной.

«Вот, – думалось мне, – эта же луна светит в Гори и, может быть, кто-либо из моих, глядя на нее, вспоминает маленькую далекую Нину... Как хотелось бы мне, чтобы лунная фея передала, как в сказке, им – моим дорогим, милым, – что Нина думает о них в эту лунную осеннюю ночь!..»

И лунная фея, точно подслушав мое желание, явилась ко мне. У нее были светлые, совсем льняные волосы, спадающие по плечам длинными волнами... В глазах у нее словно отражалось сияние месяца, так они были светлы и прозрачны!.. Высокая, гибкая, одетая во что-то белое, легкое, она неожиданно предстала предо мною... И – странное дело – я не испугалась нисколько и смотрела на нее с улыбкой, выжидая, что она скажет. Но она молчала и только пристально смотрела на меня своими загадочными глазами. Луч месяца скользнул по ее головке и спрятался в кудрях. И кудри ее стали оттого совсем, совсем серебряными.

Так как она все еще молчала, то я решила загово-

ритель первая.

– Как хорошо, – прошептала я, – что ты пришла ко мне, лунная фея.

Она засмеялась, и смех ее показался мне звонким и чудесным, именно таким, каким умеют смеяться одни только феи.

– Нет, нет, я не фея! – воскликнула она и тихо, словно нехотя, добавила: – Я только Ирэн!

– Ирэн? – удивилась я, – но разве лунная фея не может называться Ирэн?..

– Я должна вас разочаровать, маленькая княжна... Вы ждали лунную фею, а перед вами Ирочка Трахтенберг, воспитанница выпускного класса института. Ирина Трахтенберг, или просто Ирочка, как меня называют институтки.

– Ирэн... Ирочка... как хорошо, что вы пришли ко мне! Правда, я ждала фею, но вы такая же светлая и хорошенькая и вполне можете заменить ее.

И я взяла ее руки и вглядывалась в ее лицо, фантастически освещенное лучами месяца.

– Ну, полно, крошка, мне надо идти, – улыбнулась она, – вам нельзя много разговаривать, а то у вас снова повысится температура и вы не скоро выпишетесь из лазарета.

– Ах, нет, нет, фея Ирэн, не уходите от меня! – испуганно взмолилась я, – посидите на моей постели. Вы

еще не хотите спать?

– О, нет! увы! я страдаю бессонницей и долго хожу по комнатам, всю ночь, хожу, пока не почувствую желанья отдохнуть, и только под утро засыпаю. Вот и сейчас я слышала, как вы разговаривали с Матенькой, и пришла к вам заменить старушку. Вам не надо ли переменить компресс?

– О, да, пожалуйста! только не уходите! – взмолилась я, видя, что ее гибкая фигурка удаляется от меня.

– Но, смешная малютка, не могу же я иначе намочить тряпку.

– Тогда не надо компресса. Сядьте лучше около меня и положите мне на лоб вашу руку... У вас такая нежная, белая рука – она должна принести мне облегчение... Ну, вот так... А теперь... теперь вы мне скажите, как это случилось, что вы не фея, а просто Ирэн?

Ирэн засмеялась.

Она удивительно хорошо смеялась. Точно серебряные колокольчики переливались у нее в горле – и глаза ее при этом делались большими и влажными...

Она рассказала мне, что она родом из Стокгольма, что отец ее важный консул, что у нее есть младшая сестра, поразительная красавица, и что она горячо любит свою холодную родину.

Тогда и я не могла удержаться, чтобы не рассказать ей, какие чудные дни проводила я на Кавказе, как тяжело мне было расставаться сегодня с отцом и как мне хочется назад в мой милый, солнцем залитый Гори.

Она слушала меня очень внимательно. Все время, пока я говорила, ее тоненькая ручка лежала на моем лбу, и, право же, мне казалось, что боль в голове утихла, что хорошенькая Ирочка способна унести мою болезнь, как настоящая маленькая фея.

– Однако на сегодня довольно! – прервала она меня, когда я, ободренная ее вниманием, стала рассказывать ей о том, как я убежала из дому в платье нищего сазандара, – довольно, детка, а то мы начинаем бредить!..

Очевидно, она не поверила мне! Она приняла за бред то, что было со мною и что я с такой горячностью рассказывала ей!.. Я не стала ее разубеждать. Пусть считает бредом мою полную происшествий маленькую жизнь эта странная, поэтичная девушка!..

– Покойной ночи, малютка Нина, вам пора спать, завтра наговоримся досыта, – еще раз услышала я ее нежный голос. Потом, крепко поцеловав меня в мокрый от испарины лоб, она пошла к двери.

– До свиданья, фея Ирэн!..

Я видела, как она легко скользила по комнате, точ-



но настоящая лунная фея, и исчезла в коридоре.

– До свиданья, фея Ирэн! – еще раз прошептала я; и в первый раз по моем поступлении в мрачные институтские стены снова сладкая надежда на что-то хорошее постучалась мне в сердце.

Я улыбнулась, вздохнула и мгновенно забылась быстрым, здоровым сном.

Утро стояло солнечное, светлое. Открыв глаза, я увидела непривычную лазаретную обстановку и вспомнила все...

Толстененькая, свеженькая фельдшерица, с улыбающимся жизнерадостным личиком, принесла мне вторую порцию лекарства.

– Ну, слава Богу, отходили, кажется, нашу новенькую, – улыбнулась она, – а то вчера ужас как напугали нас; принесли пластом из класса – обморок... Скажите, пожалуйста, обморок! в эти-то годы да такие-то обмороки березовой кашей лечить надо...

Она ворчала притворно-сердито, а лицо ее улыбалось так простодушно и весело, что мне ужасно хотелось расцеловать ее.

Потом, вдруг, я вспомнила, что не увижу больше отца, что он далеко и никакая сила не может его вернуть теперь к его Нине-джан.

И мой взор затуманился.

– Что это, слезы? – вскрикнула Вера Васильевна

(так звали толстушку-фельдшерицу), пытливо заглянув мне в глаза. – Нет, девочка, вы уж это оставьте, а то вы мне такого дела наделаете, что не вылечить вас и в две недели.

– Хорошо, – произнесла я, – я постараюсь сдерживаться от слез, но только пришлите сюда ко мне фею Ирэн.

– Фею Ирэн? – недоумевающе произнесла она, – да вы, Господь с вами, никак бредите, княжна?

– Фея Ирэн – это Ирочка Трахтенберг. Где она?

– М-м Трахтенберг еще спит, – заявила появившаяся на пороге Матенька и потом спросила у Веры Васильевны, можно ли мне встать сегодня с постели.

Та разрешила.

Я быстро принялась одеваться и через полчаса, причесанная и умытая, в белом полотняном лазаретном халате, точь-в-точь таком же, какой я видела на Ирочке сегодня ночью, входила я в соседнюю палату. Там, перед дверцей большой печки, на корточках, вся покрасневшись от огня, сидела Ирочка и поджаривала на огне казенную булку.

– Тсс! не шумите, маленькая княжна! – остановила она меня, приложив к губам палец.

И я со смехом присела тут же подле нее на пол и стала ее рассматривать.

Она была уже не такая хорошенькая, какую показа-

лась мне ночью. Утро безжалостно сорвало с нее всю ее ночную фантастическую прелесть. Она уже более не казалась мне феей, но ее большие светлые глаза, загадочно-прозрачные, точно глаза русалки, ее великолепные, белые, как лен, волосы и изящные черты, немного надменного личика с детски-чарующей улыбкой – невольно заставляли любоваться ею.

– Что вы так пристально смотрите на меня, княжна, – засмеялась девушка, – или не признаете во мне больше таинственной лунной феи сегодня?

– Нет, нет, Ирочка, совсем не то... Я смотрю на вас потому, что вы мне ужасно нравитесь, и точно я вас знаю давным-давно!..

– Хотите жареной булки? – неожиданно оборвала она мою пылкую речь и, отломив половину только что снятой с горячих угольев булки, протянула ее мне.

Я с большим аппетитом принялась за еду, обжигая себе губы и не сводя глаз с Ирочки.

За что я ее полюбила вдруг, внезапно – не знаю, но это чувство вполне завладело моим горячим, отзывчивым на первые впечатления сердцем.

В два часа приехал доктор. Он выслушал меня особенно тщательно, расспросил о Кавказе, о папе. Потом принялся за Ирочку. Кроме нас, больных в лазарете не было. Зато из классов их потянулась на осмотр целая шеренга.

– Франц Иванович, голубчик, – молила совершенно здоровая на вид, высокая, полная старшеклассница.

– Что прикажете, m-lle Тальмина?

– Франц Иванович, голубчик, найдите вы у меня катар желудка, катар горла, катар...

– У-ух, сколько катаров сразу! Не много ли будет? Довольно и одного, пожалуй... – засмеялся добродушно доктор.

– Голубчик, физики не начинала... А изверг-физик в последний раз обещал вызвать и кол влепить... Миленький, спасите!

– А если в постель уложу? – шутил доктор.

– Лягу, голубчик... Даже лучше в постель, доказательство болезни налицо.

– А касторку пропишу?

– Брр! Ну, куда ни шло, и касторку выпью... Касторка лучше физики...

– А вдруг татап не поверит, температуру при себе прикажет смерить? Что тогда? а? обоим нахлобучка...

– Ничего, голубчик... температура поднимется, я градусник в чай опущу: живо 40 будет.

– Ах, вы, разбойницы, – рассмеялся доктор, – ну, да уж что с вами делать... Только смотрите, чтоб в последний раз эта болезнь физики с вами приключилась, а то головой выдам кому следует: скажу, что вы вместо своей температуры чайную измеряете!

– Не скажете! – бойко отпарировала девочка, – вы добрый!

Действительно, он был добрый.

Через минуту его громкий голос взывал по адресу Матеньки:

– Сестрица сердобольная, m-lle Тальминой потогонного приготовьте, да в постель.

– Случай удивительный! – обратился он серьезно к стоявшей подле фельдшерице, смотревшей на него с подобострастным вниманием.

Тальмина, охая и кряхтя, как настоящая больная, ложилась в постель, а остальные давились со смеху.

И почти каждый день ту или другую девочку спасал таким образом добрый доктор.

Ирочке и мне было предписано остаться в лазарете на неопределенное время. Но я нимало не огорчилась этому. Здесь было много уютнее, нежели в классе, да к тому же я могла отдохнуть некоторое время от нападков моих несправедливых одноклассниц.

По ночам я прокрадывалась в палату Ирочки, и мы болтали с ней до утра.

Об истории с пропавшей книжкой я не могла умолчать перед нею. Она внимательно выслушала меня и, нахмутив свои тонкие брови, проговорила сквозь зубы:

– Фу, какая гадость! – и потом, помолчав, добавила:

– Я так и думала, что с вами было что-нибудь из ряда вон выходящее. Вас, как мертвую, принесли в лазарет. М-lle Арно чуть с ума не сошла от испуга. Какие гадкие, испорченные девчонки! Знаете, Нина, если они посмеют еще раз обидеть вас, вы придите ко мне и расскажите... Я уж сумею заступиться за вас...

«Заступиться? о, нет, милая Ирочка, – подумала я, – заступиться вам за меня не придется. Я сумею постоять за себя сама».

Я рассказала Ирочке всю мою богатую событиями жизнь, и она внимательно и жадно слушала меня, точно это была не история маленькой девочки, а чудесная, волшебная сказка.

– Нина! – часто прерывала она меня на полуслове, – какая вы счастливая, что пережили столько интересного! Я бы так хотела бродить с волынкой, точно в сказке, и попасться в руки душманов...

– Что вы, Ирочка! – испуганно воскликнула я. – Ведь не всегда встречаются в жизни такие люди, как Магома, а что бы случилось со мною, если бы он не подошел ко мне на выручку? Страшно подумать!..

Славные дни провела я в лазарете, даже тоска по дому как-то сглаживалась и перестала проявляться прежними острыми порывами. Иногда меня охватывала даже непреодолимая жажда пошалить и попроказничать. Ведь мне было только 11 лет, и жизнь была

во мне ключом.

В лазарете были две фельдшерицы: одна из них, Вера Васильевна, – чудеснейшее и добрейшее существо, а другая, Мирра Андреевна, – придира и злючка. Насколько девочки любили первую, настолько же ненавидели вторую.

Вера Васильевна, или Пышка, по-видимому, покровительствовала моей начинавшейся дружбе с Ирэн, но Цапля (как прозвали безжалостные институтки Мирру Андреевну за ее длинную шею) поминутно ворчала на меня:

– Где это видано, чтобы седьмушки дневали и ночевали у старшеклассниц!

Особенно злилась Цапля, когда накрывала меня во время наших ночных бесед с Ирочкой.

– Спать ступайте, – неприятным, крикливым голосом взывала она, – сейчас же марш спать, а то я тапан пожалуюсь!

И я, пристыженная и негодующая, отправлялась во свояси. Спать, однако, я не могла и, выждав удобную минутку, когда Мирра Андреевна, окончив ночной обход, направлялась в свою комнату, я поспешно спрыгивала с постели и осторожно прокрадывалась в последнюю палату, где спала моя новая взрослая подруга.

Далеко за полночь длилась у нас бесконечная бе-

седа о доме и родине, приправляемая возгласами сочувствия, удивления и смехом.

Мирра Андреевна догадалась, наконец, что после обхода я отправляюсь в палату старших, и возымела намерение «накрыть» меня.

– Сегодня Цапля второй обход сделает, – успела шепнуть мне лазаретная девушка Маша, которая полюбила меня с первого же дня моего поступления в лазарет.

Я была огорчена самым искренним образом. Полночи чудесной болтовни с Ирэн вычеркивалось из моей жизни!

– Ну, постой же, скверная Цапля, – возмутилась я, – отучу тебя подглядывать за нами!

– Что вы хотите сделать, княжна? – встревожилась Ирочка.

– А вот увидите.

Я особенно послушно улеглась спать в этот вечер, чем, конечно, еще более увеличила подозрительность Цапли.

В большую палату привели двух новых больных, и, кроме того, пришла одна из старшекласниц, заболевшая внезапно незнанием педагогики. Таким образом, наша лазаретная семья увеличилась тремя новыми членами.

После спуска газа новенькие больные сразу уснули.



Я лежала с открытыми глазами, смотрела на крохотное газовое пламя ночника и думала об Ирэн, спавшей за стеною.

«Противная Мирка! – злилась я, – лишила меня такого громадного удовольствия...»

Поздно, должно быть, уже около 11 часов, потому что все было тихо и раздавался только сонный храп лазаретных девушек, спавших тут же, я неожиданно услышала шлепанье туфель по паркету.

«Она», – мелькнуло в моей голове, и я приготовилась к атаке.

Действительно, это была Мирра Андреевна, пришедшая подсматривать за мною. Неслышно подвигалась она на цыпочках к моей постели, одетая во что-то длинное, широкое и клетчатое, вроде балахона, с двумя папильотками на лбу, торчавшими наподобие рожек.

Лишь только клетчатая фигура с белыми рожками приблизилась и наклонилась ко мне – я неожиданно вскочила на постели и с диким криком деланного испуга вцепилась обеими руками в злосчастные рожки.

– Спасите, помогите, – вопила я, – привидение! ай! ай! ай!.. привидение!..

Шум и визг поднялся невообразимый. Девочки проснулись и, разумеется, не поняв в чем дело, вторили мне, крича спросонья на весь лазарет:

– Ай, ай, привидение, спасите!

Кричала и сама Мирра, испуганная больше нас произведенной ею суматохой. Она делала всевозможные усилия, чтобы освободиться из моих рук, но я так крепко ухватилась за белые рожки, что все ее старания были тщетны.

Наконец, она собрала последние усилия, рванулась еще раз и... – о ужас! – кожа вместе с волосами и белыми рожками отделилась с ее головы и осталась в моих руках наподобие скальпа.

Я невольно открыла чужую тайну: почтенная Мирра носила парик. С совершенно голым черепом, с бранью и криками, Цапля бросилась к выходу. А я, растерянная и смущенная неожиданным оборотом дела, лепетала, помахивая оставшимся в моих руках париком:

– Ах, Боже мой, кто же знал... Разве я думала...

Газ снова подняли. Комната осветилась. Больные перестали кричать и волноваться и, окружив меня, хотали теперь, как безумные.

В двух словах я передала им, как испугалась рогатого привидения, как это привидение оказалось почтенной Миррой Андреевной, и даже не Миррой Андреевной, а, верней, ее париком. Мы смеялись до изнеможения.

Наконец, решили завернуть злосчастный парик

Мирры в бумагу и отнести его разгневанной фельдшернице.

Парик передали Матеньке и велели ей как можно осторожнее доставить его по назначению.

На другой день, на перевязке, у институток только и разговору было о том, как княжна Джаваха скальпировала Цаплю. Хохотали в классах, хохотали в лазарете, хохотали в подвальном помещении девушек-служанок. Только одна Цапля не хохотала. Она бросала на меня свирепые взгляды и настаивала на скорейшей выписке меня из лазарета.

На следующий вечер, нежно простясь с Ирочкой, я собиралась в класс.

– До свиданья, шалунья! – с ласковой улыбкой поцеловала меня Ирэн.

– До свиданья, лунная фея, выздоравливайте скорее; я буду вас ждать с нетерпением в классах.

Когда я поднялась в коридор и знакомое жужжанье нескольких десятков голосов оглушило меня – чуждой и неприятной показалась мне классная атмосфера. Я была убеждена, что меня ждут там прежние насмешки недружелюбно относящихся ко мне одноклассниц.

Но я ошиблась.

Fraulein Геннинг, когда я вошла, сидела на кафедре, окруженная девочками, отвечавшими ей заданные уроки.

При моем появлении она ласково улыбнулась и спросила:

– Ну, Gott grusst dich.<sup>44</sup> Поправилась?

Я утвердительно кивнула головой и оглядела класс. Вокруг меня уже не было ни одного враждебного личика. Девочки, казалось, чем-то пристыженные, толпились вокруг меня, избегая моего взгляда.

– Здравствуйте! – кивнула мне головой Варюша Чикунина, и голос ее звучал еще ласковее, нежели прежде. – Совсем поправились?

– Да! и уже нашалила там порядочно, – засмеялась я и, присев подле нее на парту, вкратце рассказала ей лазаретное происшествие.

– Так вот вы какая! – удивленно подняла она брови и потом добавила, неожиданно понизив голос: – а ведь книжечка-то нашлась!

– Какая книжечка? – искренно удивилась я.

– Да Марковой... помните, из-за которой вы заболели. Как же, нашлась. Феня ее с сором вымела в коридор и потом принесла... Знаете ли, Джаваха, они так сконфужены своим нелепым поступком с вами...

– Кто?

– И Бельская, и Маркова, и Запольская, словом, все, все... Они охотно бы прибежали мириться с вами, да боятся, что вы их оттолкнете.

---

<sup>44</sup> Ну, Gott grusst dich – Здравствуй (южн. – нем.).

– Пустяки! – весело вырвалось у меня, – пустяки!

И действительно, все казалось мне теперь пустяками в сравнении с дружбой Ирочки. Институт уже не представлялся мне больше прежней мрачной и угрюмой тюрьмой. В нем жила со своими загадочно-прозрачными глазками и колокольчиком-смехом белокурая фея Ирэн.

# Глава V

## Преступление и наказание. Правило товарищества

По длинным доскам коридора,  
Лишь девять пробьет на часах,  
Наш Церни высокий несется,  
Несется на длинных ногах.  
Не гнутся высокие ноги,  
На них сапоги не скрипят,  
И молча в открытые веки  
Сердитые очи глядят.

Краснушка даже языком прищелкнула от удовольствия и обвела класс торжествующими глазами.

– Bravo, Запольская, bravo! – раздалось со всех сторон, и девочки запрыгали и заскакали вокруг нашей маленькой классной поэтессы.

Дежурная дама, страдавшая флюсом, вышла полежать немного в своей комнате, и мы остались предоставленными самим себе.

– Милочки, да ведь она это у Лермонтова стацила, – внезапно запищала всюду поспевающая Бельская.

– Что ты врешь, Белка! – напустилась на нее обвиняемая.

– Ну, да... «Воздушный корабль»... «По синим волнам океана, – так начинается, – лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах». А у тебя...

– Ну, да, я и не скрываю... Я за образец взяла... Даже и великие поэты так делали... А все-таки хорошо, и ты из зависти придираешься. Хорошо, ведь, mesdam'очки? – И она обвела класс сияющими глазами.

– Хорошо, Маруся, очень хорошо, – одобрили все. – Вот-то обозлится Церни!

Церни был наш учитель арифметики. Длинный и сухой, как палка, он поминутно злился и кричал. Его в институте прозвали «вампиром». Его уроки считались наказанием свыше. Страница журнала, посвященная математике, постоянно пестрела единицами, нулями и двойками. Больше десяти баллов он не ставил даже за самый удовлетворительный ответ.

– Хорошо, – говорил он, улыбаясь и обнаруживая при этом большие желтые зубы, – вы заслуживаете 10 баллов.

– Но почему же не 12, monsieur Церни? – расхрабравшись, приставала ободренная похвалой девочка.

– А потому, г-жа Муравьева, что только Господу Бо-

гу доступны все знания на первый балл, т. е. на 12. Мне, вашему покорному слуге, на 11, а уж вам, госпожа Муравьева, на 10.

– Ах, душки, – возмущалась Додо вполголоса, вернувшись на свое место, – вампир-то какой грешник! Самого Бога замешал в свою поганую арифметику!

Церни ненавидели всем классом и бесстрашно выказывали ему свою ненависть. А однажды после несправедливо поставленной Милочке Корбиной, тихонькой и прилежной девочке, двойки за не понятую ею задачу – его решили «травить».

В то время как на уроках других учителей на кафедре красовались красиво обернутые протечной бумагой мелки с красными, голубыми и розовыми бантиками, – на уроке Церни лежал небрежно брошенный обломок или, вернее, обгрызок мелка, едва уместившийся в руках. В чернильнице постоянно плавали мухи, а перо клалось умышленно такое, что им едва-едва можно было расписаться в классном журнале.

Тане Покровской, обожавшей Церни (у Тани Покровской всегда все как-то выходило «не слава Богу», и ее признавали неудачницей), строго запретили «выручать вампира», и Таня, проплакав урок своего «душки-Цирющи», покорила.

– Делайте с ним что хотите, mesdam'очки, но прекращать мое обожанье теперь, когда вы его решили



травить, я считаю подлостью, – кротка заявила она.

– Ну, и обожай своего вампира, а мы все-таки его изведем вдребезги, – решила Запольская и тотчас же села за свое стихотворение...

Муза улыбнулась Марусе, и начало пародии на «Воздушный корабль» вышло довольно удачным.

Краснушка была не прочь продолжать в том же духе, но Муза заупрямилась, и девочка ограничилась только одним четверостишием, которое бойко подмахнула под стихотворением:

Единицы, двойки, тройки  
Так и сыплет нам вампир,  
Весь при этом злобой пышет,  
Берегись, крещеный мир!

Было решено положить листочек со стихом на стол около чернильницы, как будто неумышленно позабытый. Каждая из девочек влезала на кафедру, чтобы убедиться в присутствии листка.

На этот раз, как бы золотя пилюлю, Церни положили мелок с красной оберткой и бантом. Даже приклеили на бант картинку с изображением улетающего в небо ангела.

– Это предсмертное удовольствие, – смеялись шалуни, – ведь умирающим всегда делают что-нибудь приятное, а вампир наверное, прочтя стихи, лопнет со

злости!

Тане Покровской кто-то предложил обвязать руку черной лентой, как бы в знак траура.

Таня дулась и сердилась, но идти против класса не посмела. Это было бы нарушением правила товарищества, что строго преследовалось институтскими законами дружбы. «Умри, а не выдай», – гласил этот закон, выдуманный детскими головками, то великодушными и разумными, то сумасбродными и фантазирующими сверх меры.

Я подошла последнею к кафедре. В этот день я была дежурною по классу и на моей обязанности лежало посмотреть, все ли необходимое приготовлено учителю.

Все было на месте, не исключая и злосчастного листка со стихотворением.

Едва успела я открыть чернильницу и вытащить из нее двух утопленниц-мух, как дверь широко распахнулась, и рыжий, длинный, сухой Церни влетел в класс.

Еле кивнув привставшим со своих мест девочкам, он взобрался на кафедру и готовился уже приступить к вызову учениц, как вдруг взор его упал на злополучный листок. Осторожно, худыми, кривыми пальцами, словно это была редкостная драгоценность, Церни взял его и, приблизив к самому носу, начал читать – о ужас! – вслух...

По мере чтения, лицо его, из землисто-серого, становилось багрово-красным. Покраснел его высокий, значительно увеличенный лысиною лоб, его бесконечный, «до завтрашнего утра», как говорили институтки, нос и шея, в которую с остервенением упирались тугие белые воротнички крахмальной сорочки.

Злобой бешеною пышет.  
Берегись, крещеный мир!

удивительно отчетливо и чисто произнес он заключительные строки и отложил листок.

Гробовая тишина наступила в комнате. Слышно было, казалось, как пролетела муха... Церни откинулся на спинку стула и злобно-торжествующими глазами обводил класс... И каждой из нас стало неловко, в каждой из юных головок не могла не мелькнуть мысль: «Уж не слишком ли далеко зашла наша шутка?»

Протянулась минута, показавшаяся нам вечностью. Молчал класс, молчал Церни. Злополучный листок снова красовался в его руках.

«Уж разразился бы скорее, – томительно выстукивали наши сердца, – все равно – помилования не жди, так уж скорее бы! У-у! вампир противный».

Но он не разразился, против ожидания, а, наоборот,

сладчайшим голосом обратился к классу:

– Не правда ли, остроумное произведение, mesdames? Горю нетерпением познакомиться с именем талантливого автора. Надеюсь, он не замедлит назваться.

Но все молчали... Это была жуткая тишина, от которой становилось горько во рту и больно-больно ныло под ложечкой.

– Ну-с, если сам автор не желает назваться и прячется за спины подруг, – так же неумолимо-спокойно продолжал Церни, – то, делать нечего, приступим к допросу. Кстати, входя в класс, я кое-что заметил. Надеюсь, у виновной хватит достаточно смелости не отпираться?

Что это? Злые и холодные глаза вампира уставились на меня с неподражаемым выражением скрытой насмешки... Неприятно и неловко становилось от этого взгляда.

«Что ему надо? – мучительно сверлило мой мозг. – Что он смотрит?»

Снова тишина воцарилась в классе... Снова противный, слащавый голос прозвучал нежнейшими нотами:

– Не будете ли любезны назваться сами? – И снова выпуклые, гневные глаза неопределенно-водянистого цвета остановились на мне.

Я почувствовала, как вся кровь то прилиwała, то отлиwała в моем лице, как вдруг похолодели мои дрожащие пальцы, и я уже не могла отвести взгляда от злых и пронизывающих меня насквозь глаз учителя.

И вдруг случилось то, чего никто из нас не ожидал. Таня Покровская вскочила со своей парты и, молитвенно сложив руки, прокричала на весь класс, давась тщетно сдерживаемыми слезами:

– Monsieur Церни, миленький, ей-Богу, мы не нарочно...

Учитель нахмурился. Я видела, как побелел кончик его длинного носа, а глаза стали еще злее, выпуклее и бесцветнее.

– Госпожа Покровская, успокойтесь, – холодно-сдержанно произнес он и пристально посмотрел на забывшуюся и сконфуженную девочку, – нарочно или нечаянно сделано это, мне все равно. Я желаю знать, кто это сделал?

– Господи! миленьким назвала – ничего не помогает, – сокрушенно произнесла бедная Таня и прибавила громким шепотом, так, чтобы слышали соседки:

– Аспид бесчувственный, не хочу обожать его больше... Вампир!

Никто из нас, однако, не обратил внимания на ее слова. Нервы наши были напряжены донельзя. Многие девочки искренно раскаивались теперь в своем

поступке. Всем было не по себе.

А Церни все еще смотрел на меня, чуть не доводя меня до слез этим немигающим, пристальным взглядом.

– Итак, виновная упорно не желает сознаться? – еще раз услышали мы его неприятный, звенящий голос.

Новое гробовое молчание воцарилось в классе.

– Я жду.

После новой паузы он неожиданно вытянулся на кафедре во весь свой громадный рост и, подойдя к моей парте, неожиданно произнес невыносимо противным голосом:

– Княжна Джаваха, это сделали вы!

Я вздрогнула и подняла на него вопрошающий взгляд. Обвинение было слишком неожиданно и нелепо, чтобы я могла им оскорбиться.

– Это сделали вы! – еще раз невозмутимо произнес Церни, – я видел, как вы положили листок около чернильницы, когда я входил в класс.

И, нервно вздрагивая от волнения или злости, он большими шагами вернулся на кафедру.

– Я требую, чтобы вы признались в поступке сами, – продолжал он уже оттуда, – и потому спрашиваю вас еще раз: вы ли, княжна Джаваха, положили на кафедру стихи?

Я оглянулась... Бледные, встревоженные личики с молящим выражением смотрели на меня.

– Не выдай Запольскую, не выдай Краснушку, – казалось, говорили они.

Я сама знала, что Запольской не простят такого проступка: она худшая по арифметике; Церни и без того ее ненавидит, да и по шалостям она на замечании у начальства.

И я поняла их, эти взволнованные, испуганные лица моих недавних врагов. Поняла и... решилась.

Поднявшись со своего места, я твердо и внятно проговорила:

– Monsieur Церни, простите. Это сделала я.

– А! – как-то жалобно вырвалось у него, точно он пожалел, что не ошибся в своем предположении; но тотчас же, как бы спохватившись, добавил:

– Я очень доволен, что вы сознались. Раскаяние должно послужить вам наказанием. Что касается меня, то я не хочу заниматься с девочками, у которых нет сердца. Завтра же меня здесь не будет.

И сказав это каким-то новым, опечаленным и размягченным голосом, он поспешно сошел с кафедры и исчез за дверью.

Класс дружно ахнул.

Не знаю почему, но последние слова ненавистного вампира больно ущипнули меня за сердце.

«Может быть, – мелькнуло у меня в мыслях, – бросив уроки в институте, он должен будет бедствовать... может быть, у него больная жена... много детей, которые его любят и ценят и для которых он не злой вампир-учитель, а добрый, любимый папа. И для этих детей, вследствие его ухода из института, наступит нужда, может быть, нищета... голод».

И чего еще только не представляло мое пылкое, удивительно послушное воображение!.. Какие только раздирающие душу картины не представлялись моим мысленным взорам!..

Не вполне сознавая, что делаю, я опрометью бросилась из класса.

Церни невозмутимо шагал по коридору своими длинными ногами, и я едва успела настичь его у дверей учительской.

– Monsieur Церни, – прошептала я, краснея, – monsieur Церни, пожалуйста, не уходите от нас! ради Христа!

Он насмешливо пробормотал сквозь зубы:

– Запоздалое раскаяние, г-жа Джаваха. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

– Ах, нет! ах, нет, monsieur Церни... – не помня, что говорю, лепетала я, – не уходите... Зачем бросать место из-за глупой выходки глупых девочек... Простите меня, monsieur Церни... Это было в первый и послед-



ний раз. Право же... это такая мука, такая мука... – и, совсем забывшись в моем порыве, я закрыла лицо руками и громко застонала.

Когда, отняв руки, я взглянула на Церни, то не узнала его преобразившегося лица: до этой минуты злые и насмешливые глаза его страшно засветились непривычной лаской, от которой все лицо перестало казаться сухим и жестким.

– Госпожа Джаваха! – несколько торжественно произнес он, – я вас прощаю... Ступайте объявить классу, что я и вас и всех их прощаю от души...

– Ах, monsieur Церни, – порывисто вырвалось у меня, – какой вы великодушный, милый! – и быстрее стрелы я помчалась назад по коридору обратно в класс.

Там все по-прежнему сидели на своих местах. Только Краснушка – виновница печального случая – и еще две девочки стояли у доски. Краснушка дописывала на ней белыми, крупными буквами последнюю строчку.

Надпись гласила:

«Княжна Ниночка Джаваха! Мы решили сказать тебе всем классом – ты душка. Ты лучше и честнее и великодушнее нас всех. Мы очень извиняемся перед тобой за все причиненное нами тебе зло. Ты отплатила за него добром, ты показала, насколько ты лучше

нас. Мы тебя очень, очень любим теперь и еще раз просим прощения. Княжна Ниночка Джаваха, душа, прелесть, простишь ли ты нас?»

После слова «нас» стояло десять вопросительных и столько же восклицательных знаков.

Могла ли я не простить их, когда кругом улыбались детские дружеские личики, когда четыре десятка рук потянулись ко мне с пожатием и столько же детских ротиков – с сердечным, дружеским поцелуем. Я засмеялась тихо и радостно, быстро схватила мел и подписала внизу такими же крупными каракулями:

«Да, да, прощаю, забываю и люблю вас также всех ужасно!»

И потом, внезапно вспомнив только что происшедшее, подмахнула ниже:

«И Церни простил: он остается».

В ту же минуту дружное «ура!» вырвалось из груди сорока девочек.

Соседняя дверь отворилась, и в нее просунулась седая голова классной дамы соседних с нами шестых.

– Вы с ума сошли, mesdames! рядом уроки, а вы кричите, как кадеты, – прошипела она. – Я пожалуюсь m-lle Арно.

Мы, действительно, сошли с ума. Мы целовались и смеялись, и снова целовались... Вся эта маленькая толпа жила в эту минуту одной жизнью, одним серд-

цем, одними мыслями. И я была центром ее, ее радостью и гордостью!

Преграда рушилась... Я нашла мою новую семью.

## Глава VI

### Ложь и правда. Люда Власовская

Моя жизнь в институте потекла ровно и гладко. Девочки полюбили меня все, за исключением Крошки. Она дулась на меня за мои редкие успехи по научным предметам и за то исключительное внимание, которое оказывал мне теперь класс. Еще Маня Иванова не влюбилась во меня потому только, что была подругой Крошки. Остальные девочки горячо привязались ко мне. Равнодушной оставалась разве только апатичная Рен – самая большая и самая ленивая из всех семьмушек.

Теперь мое слово получило огромное значение в классе. «Княжна Нина не соврет», – говорили девочки и верили мне во всем, как говорится, с закрытыми глазами.

Мне была приятна их любовь, но еще приятнее их уважение.

«Радость-папа, – писала я, между прочим, в далекий Гори, – благодарю тебя за то, что ты выучил меня никогда не лгать и ничего не бояться...»

И я рассказала ему в письме все, что со мною произошло.

Как удивился, должно быть, мой папа, получив та-

кое письмо от своей джанночки, – удивился и... обрадовался.

Классные дамы – не только милая, снисходительная и добродушная Генинг, но и строгая, взыскательная Арно – относились ко мне исключительно хорошо.

– Вот ученица, на которую можно положиться вполне, – говорила последняя и в первый же месяц моего пребывания в институте занесла меня на красную доску.

Я не понимала, чем я заслужила подобное расположение. Я делала только то, что диктовало мне мое сердце. «Разве не обязанность каждого человека говорить правду и поступать правильно и честно?» – думала я.

Ложь была мне противна во всех ее видах, и я избегала ее даже в пустяках. Как-то раз мы плохо выучили стихотворение немецкому учителю, и в этот день журнал наш украсился не одним десятком двоек и пятерок. Даже у меня, у Крошки и Додо – лучших учениц класса – красовались нежелательные семерки за ответ.

– Schande!<sup>45</sup> – сердито, уходя из класса, бросил нам, вместо прощального приветствия, рассерженный немец.

Пристыженные сошли мы в столовую к обеду и

---

<sup>45</sup> Schande! – Стыдно! (нем.)

еще больше смутились, увидя там тамап в обществе нашего почетного опекуна и министра народного просвещения. Последнего мы дружно боготворили со всею силою нашей детской привязанности.

Небольшой, очень полный, с седыми кудрями, с большим горбатым носом и добродушными глазами – он одним своим появлением вносил луч радости в институтские стены. И любил же детей на редкость, особенно маленьких седьмушек, к которым питал особенную нежность.

– Уж вы меня простите, – обратился он к старшим, у которых было уселся за столом, чтобы разделить с ними скудный институтский завтрак, – а только вон мои «моськи» идут! (маленьких воспитанниц он почему-то всегда называл «моськами») – и, спеша и переваливаясь, он опередил нас и, встав в первой паре между Валею Лер и Крошкой, прошел так через всю столовую к нашему великому восторгу.

– Что ж вы на урок к нам не заходите, Иван Петрович? – бойко выскочила вперед Бельская.

– Некогда было, мосенька, – отечески тронув ее за подбородок, ответил министр. – А какой урок был?

– Немецкий.

– Ну, и что же?.. Нулей, поди, не оберешься в журнале?

– Вот уж нет, – даже оскорбилась подобным заме-

чанием Кира Дергунова, получившая как раз единицу в этот урок.

– Так ли? – забавно-недоверчиво подмигнул шутивший министр.

– Вот уж верно. Я десять получила.

– Ну? – протянул он, высоко подняв брови. – Молодец, мосенька! А ты? – обратился он к Запольской.

– Двенадцать, Иван Петрович, – не сморгнув, соврала та.

– А ты, Крошка? – зная все наши не только имена, но и прозвища, продолжал спрашивать он.

– Тоже двенадцать, – солгала Маркова и даже побледнела немножко.

– Ну, это куда ни шло... хорошая ученица, а вот что Белка-Разбойник и Кирюша отличаются – не сказка ли, мосеньки, из тысяча и одной ночи? А?

– Нет, нет, правда, Иван Петрович, – запищали девочки хором, – сущая правда!

И к кому бы ни обращался с вопросом наш любимец – отметки выходили на редкость отличными.

– Счастлив же должен быть сегодня Herr Hallbeck, – произнес он не то насмешливо, не то задумчиво.

– Ну, а ты, принцесса Горийская (меня так прозвали институтки), тоже, поди, двенадцать получила? – неожиданно обратился ко мне министр.

Словно что ущипнуло меня за сердце, и оно заби-

лось быстро, быстро.

– Нет, Иван Петрович, – твердо произнесла я, – я получила сегодня семерку.

– Вот тебе раз! – произнес, разведя руками, он и скорчил такую потешную гримасу, что весь стол дружно прыснул со смеха, несмотря на неловкость и смущение.

– А ведь я знал, что эта не солжет, – снова уже серьезно проговорил Иван Петрович, обращаясь ко всем вместе и ни к кому в особенности. – Не солжет, – повторил он задумчиво и, подняв пальцами мой подбородок, добавил ласково: – Такие глаза лгать не могут, не умеют... Правдивые глаза! Чистые по мысли! Спасибо, княжна, спасибо, принцесса Горийская, что не надула старого друга!

И прежде чем я опомнилась, старик поцеловал меня в лоб и отошел к прежнему месту за столом первоклассниц.

– Ниночка, зачем ты нас не поддержала, – капризно-недовольно протянула Додо, не желавшая падать со своей высоты классной парфетки во мнении любимого начальства.

– Да, да, зачем, Нина? – подхватили девочки.

– Принцесса Горийская не может не сунуть свой длинный носик, где ее не спрашивают, – прошипела ядовитая Крошка.



– Ах, оставьте меня, – произнесла я с невольным приступом злости, – всегда говорила и буду говорить правду... Лгать для вашего удобства не намерена.

– Очень похвально идти против класса! – продолжала язвить меня Маркова.

– Молчи, Крошка, – прикрикнула на нее Дергунова. – Нина знает, как быть, и не нам учить ее.

На этом разговор и оборвался. Правда восторжествовала.

Выходя из класса в тот же день, я столкнулась с Ирэн, выписавшейся из лазарета.

– А, принцесса Горийская, воплощение правды! – воскликнула она весело.

– А, фея Ирэн! – вырвалось у меня с неудержимым порывом восторга, – наконец-то я вас вижу!

Она была не одна. Черная, угреватая девушка опиралась на ее руку и смотрела на меня смеющимися и веселыми глазами.

– Это моя подруга Михайлова. Будьте друзьями и не грызитесь, пожалуйста, – засмеялась Ирочка, взяв мою руку, и вложила ее в руку своей подруги.

– Друзья наших друзей – наши друзья, – торжественно-шутливо ответила я, прикладывая руку ко лбу и сердцу по восточному обычаю.

Ирочка засмеялась. Она уже не казалась мне больше прозрачную лунную феей, какую явилась мне в

ту памятную ночь в лазарете, – нет, это была уже не прежняя, немного мечтательная, поэтичная фея Ирэн, а просто веселая, смеющаяся, совсем земная Ирочка, которую, однако, я любила не меньше и которую решила теперь «обожать» по-институтски, чтобы и в этом не отстать от моих потешных, глупеньких одноклассниц...

Часы сменялись часами, дни – днями, недели – неделями. Институтская жизнь – бледная, небогатая событиями – тянулась однообразно, вяло. Но я уже привыкла к ней. Она мне не казалась больше невыносимой и тяжелой, как раньше. Даже ее маленькие интересы заполняли меня, заставляя забывать минутами высокие горы и зеленые долины моего сказочно-чудесного Востока.

Уроки, приготовление их, беготня за Ирочкой на половину старших, схватки с Крошкой и соревнование в учении с самыми лучшими ученицами – «сливками» класса, – долгие стояния по праздникам в церкви (которые я особенно любила благодаря торжественной таинственности службы), воскресные дежурства в приемной за отличие в поведении – все это шло заведенной машиной, однообразно выстукивающей свой правильный ход.

И вдруг неожиданно эта машина перевернулась. Случилось то, чего я не могла предвидеть: я нашла то,

чего не ожидала найти в скучных институтских стенах.

Стоял октябрь. Гадкая петербургская осень налегла на чахлую северную природу, топя ее потоками своих дождей, нудных и беспрестанных, производящих какое-то гнетущее и тяжелое впечатление. Мы только что вернулись с садовой галереи, на которой гуляли в продолжение всей большой перемены. В сад идти было немыслимо. Дожди превратили его в сплошное болото, а гниющий на последней аллее лист наполнял воздух далеко не приятным запахом. Голодные вороны металась с громким карканьем между вершинами оголенных деревьев, голодные кошки с неестественно увеличенными зрачками шмыгали здесь и там, наполняя сад своим пронзительным мяуканьем.

Все кругом было серо, холодно, пусто... Мы вернулись с воздуха хмурые, недовольные. Казалось, печальная картина гнилой петербургской осени отразилась и на нас.

Безучастно сбросили мы капоры и зеленые платки, безучастно сложили их на тируарах. Я уселась на парту, открыла книгу французского учебника и принялась повторять заданный на сегодня урок. От постоянной непогоды я кашляла и раздражалась по пустякам. А тут еще подсевшая ко мне Краснушка немилосердно грызла черные хлебные сухарики, зажаренные ей по-

тихоньку девушкой Феней в коридорной печке.

– Сделай милость, не грызи! – окончательно рассердилась я, бросив на Запольскую негодующий взгляд.

– Фу, какая ты стала злючка, Ниночка, – удивилась Маруся и, желая меня задобрить, прибавила: – поговорим о Мцхете, о Грузии.

Краснушка совсем еще маленькой девочкой была на Кавказе и видела Мцхет с его поэтичными развалинами и старинными крепостями. Мы часто, особенно по вечерам, болтали о Грузии. Но сегодня мне было не до этого. Грудь моя ныла, петербургская слякоть вселяла в душу невольное отвращение, и рядом с картинами ненавистной петербургской осени поднимать в воображении чудесные ландшафты далекого родного края мне казалось теперь чуть ли не кощунством. В ответ на предложение Маруси я только отрицательно покачала головой и снова углубилась в книгу.

Постепенно, однако, бывшие воспоминания потянулись бесконечной вереницей в моих мыслях... Мне вспомнился чудесный розовый день... шумный пир... возгласы тулумбаши... бледная, тоненькая девушка... мой храбрый красавец папа, бесстрашно несшийся на диком коне... И надо всем этим море цветов и море лучей...

Я так углубилась в мои мысли, что не заметила, как внезапно стихло пчелиное жужжание учивших уроки девочек, и только опомнилась при виде начальницы, стоявшей в трех шагах от меня с какой-то незнакомой скромно одетой дамой и маленькой потешной чернокудрой девочкой, похожей на цыганенка. Меня поразила вид этой девочки, с громадными, быстрыми, наивными и доверчивыми черными глазками.

Я не слышала, что говорила мама, потому что все еще находилась в сладком состоянии мечтательной дремоты. Но вот, как шелест, пронесся говор девочек, и новость коснулась моего слуха:

– Новенькая, новенькая!

Мама поцеловала девочку, как поцеловала меня два месяца тому назад при моем поступлении в институт, так же перекрестила ее и вышла в сопровождении чужой дамы из класса.

Новенькая осталась...

Пугливыми, робкими глазками окидывала она окружавшую ее толпу девочек, пристававших к ней с одними и теми же праздными вопросами, с какими приставали еще так недавно ко мне.

Новенькая отвечала застенчиво, стесняясь и конфузясь всей этой незнакомой толпы веселых и крикливых девочек. Я уже хотела идти ей на выручку, как m-lle Арно неожиданно окликнула меня, приказав

взять девочку на мое попечение.

Я обрадовалась, сама не зная чему. Оказать услугу этой маленькой и забавной фигурке с торчащими во все стороны волосами, иссиня-черными и вьющимися, как у барашка, мне показалось почему-то очень приятным.

Ее звали Люда Власовская. Она смотрела на меня и на окруживших нас девочек не то с удивлением, не то с тоскою... От этого взгляда, затуманенного слезами, мне становилось бесконечно жаль ее.

«Бедная маленькая девочка! – невольно думалось мне, – прилетела ты, как птичка, из далеких стран, наверное, далеких, потому что здесь, на севере, нет ни таких иссиня-черных волос, ни таких черных вишен-глаз. Прилетела ты, бедная птичка, и сразу попала в холод и слякоть... А тут еще любопытные, безжалостные девочки забрасывают тебя вопросами, от которых тебе, может быть, делается еще холоднее и печальнее на душе... О! я понимаю тебя, отлично понимаю, дорогая; ведь и я пережила многое из того, что испытываешь ты теперь. Но, быть может, у тебя нет такой сильной воли, как у меня, может быть, ты не в состоянии будешь пережить всех тех невзгод, которые перенесла я в этих стенах...»

И, грубо оборвав начинавшую уже поддразнивать и трунить над новенькой Бельскую, я постаралась при-

ласкать бедняжку, как умела.

Она взглянула на меня благодарными, полными слез глазами, и этот взгляд решил все... Мне показалось вдруг, что ожил Юлико с его горячей преданностью, что Барбале послала мне привет из далекого Гори, что с высокого синего неба глянули на меня любящие и нежные очи моей деды... Маленькая девочка с вишневыми глазками победила мое сердце. Я смутно почувствовала, что это друг настоящий, верный, что смеющаяся и мечтательная Ирочка – только фея и останется феей моих мыслей, а эту смешную, милую девочку я точно давно уже люблю и знаю, буду любить долго, постоянно, всю жизнь, как любила бы сестру, если б она была у меня.

Счастье мне улыбнулось. Я нашла то, чего смутно ждала душою во всю мою коротенькую детскую жизнь... Ждала и дождалась. У меня теперь был друг, верный, милый.

# Глава VII

## Принцесса Горийская показывает чудеса храбрости

Гнилая петербургская осень по-прежнему висела над столицей, по-прежнему серело небо без малейшей солнечной улыбки, по-прежнему кончались одни уроки и начинались другие, по-прежнему фея Ирэн, всегда спокойная, ровная, улыбалась мне при встречах, а между тем точно новая песенка звенела в воздухе, веселая весенняя песенка, и песенка эта началась и кончалась одною и тою же фразой:

«С тобою Люда! твой друг Люда! Твоя галочка-Люда!»

Я назвала ее галочкой потому, что она, по-моему, на нее походила, такая смешная, черненькая, маленькая, с такими круглыми птичьими глазками.

Ее все полюбили, потому что нельзя было ее не любить, – такая она была славная, милая. Но я ее любила больше всех. И она мне платила тем же. Одним словом, мы стали друзьями на всю жизнь.

Когда ей было тяжело, я уже видела это по ее говорящим глазкам, в которых читала, как в открытой книге.



Она привязалась ко мне трогательной детской привязанностью, не отходила от меня ни на шаг, думала моими мыслями, глядела на все моими глазами.

– Как скажет Нина... как пожелает Нина... – только и слышали от нее.

И никто над нею не смеялся, потому что никому и в голову не приходило смутить покой этого кроткого, чудного ребенка.

И потом ее охраняла я, а меня уважали и чуточку побаивались в классе.

Одна только Крошка временами задевала Люду.

– Власовская, где же твой командир? – кричала она, завидя одиноко идущую откуда-нибудь девочку.

Я узнавала стороной проделки Марковой, но прекратить их была бессильна. Только наша глухая вражда увеличивалась с каждым днем все больше и больше.

Люда приехала из Малороссии. Она обожала всю Полтаву, с ее белыми домиками и вишневыми садами. Там, вблизи этого города, у них был хутор. Отца у нее не было. Он был героем последней турецкой кампании и умер как герой, с неприятельским знаменем в руках на обломках взятого редута. Свою мать, еще очень молодую, она горячо любила.

– Мамуся-кохана, гарная мама, – постоянно щебетала она и вся дрожала от радости при получении пи-

сем с далекой родины.

У нее был еще брат Вася, и все трое они жили безвыездно со смерти отца в их маленьком именьеце.

Все это рассказывала мне Люда, после спуска газа, в длинные осенние вечера, лежа в соседней со мною жесткой институтской постельке. Не желая оставаться в долгу, я тоже рассказывала ей о себе, о доме. Но о тех страшных приключениях, которые встречались в моей жизни, я умолчала. Я не хотела пугать Люду – робкую и болезненно-впечатлительную по природе. Довольно было с нее и тех рассказов, которые с таким восторгом слушались институтками в вечерний поздний час, когда классная дама, поверившая в наш притворный храп, уходила на покой в свою комнату. Тут-то начинались настоящие ужасы. Кира Дергунова отличалась особым мастерством рассказывать «страсти», и при этом рассказывала она «особенным» способом: таращила глаза, размахивала руками и повествовала загробным голосом о том, что наш институт когда-то был женским монастырем, что на садовой площадке отрыли скелет и кости, а в селюльках, или музыкальных комнатах, где институтки проходили свои музыкальные упражнения, бродят тени умерших монахинь, и чьи-то мохнатые зеленые руки перебирают клавиши.

– Ай-ай, – прерывала какая-нибудь из более роб-

ких слушательниц расходившуюся рассказчицу, – пожалуйста, молчи, а то я закричу от страха.

– Ах, какая же ты дрянь, душка! – сердилась возмущенная Кира, – сама же просила рассказывать...

– Да я просила «без глаз», – оправдывалась перетрусившая девочка, – а ты и глаза страшные делаешь, и basiшь ужасно...

– Без глаз и без баса не то! – авторитетно заявляла Кира и окончательно раздражалась гневом. – Нечего было просить – убирайся, пожалуйста!

Рассказ прерывался. Начиналась ссора. А на следующий вечер та же история. Девочки забирались с ногами на постель Кире, и она еще больше изловчалась в своих фантастических повествованиях.

Временами я взглядывала на Люду. Ее ротик открывался, глаза расширялись ужасом, но она жадно слушала, боясь проронить хоть одно слово.

Как-то за обедом серьезная Додо сказала, что ей привелось встретить лунатика. Девочки, жадные до всего таинственного, обрадовались новому предмету разговора.

– Какой лунатик? где ты его встретила? чем это кончилось?.. – набросились они на Додо, но, к большому разочарованию любопытных, девочка могла только сказать, что «он» был во всем белом, что шел, растопырив руки, что глаза у него были открыты и смот-

рели так страшно, так страшно, что она, Додо, чуть не упала в обморок.

– А что всего ужаснее, душки, – добавила Додо, заставив вздрогнуть сидевшую рядом с нею Люду, – Феня говорит, что тоже видела лунатика на церковной паперти.

– Ну, милая, и ты и твоя Феня врете! – рассердилась я, видя, как зрачки Люды расширились от ужаса и вся она лихорадочными глазами впиалась в рассказчицу.

– Ну, у тебя все врут! а пойдика на паперть и сама увидишь, – недовольно заявила Кира.

– Mesdam'очки, на паперти по ночам духи поют, – неожиданно вмешалась в разговор Краснушка, – стра-а-шно!

– Трусихам все страшно! – насмешливо улыбнулась я.

– А тебе не страшно?

– Нет.

– И пошла бы...

– Пойду.

– Что?! – и девочки даже привскочили на своих местах.

– И пойду! – еще упрямее возразила я, – пойду, чтоб доказать вам, что вы все это сочиняете.

В ту же минуту Люда незаметно толкнула меня под локоть. Я повела на нее недовольными глазами.

– Что тебе?

– Ниночка, не ходи! – шепнула она мне тихо.

– Ах, оставь, пожалуйста, чего ты боишься? Пойду, разумеется, и докажу всем вам, что никакого лунатика, ни духов нет на паперти.

– Ну, и отлично! – крикнула на весь стол Иванова, – пусть Джаваха идет сражаться с лунатиками, черной монахиней, с кем хочет. Только, светлейшая принцесса, не забудьте оставить нам ваше завещание.

– Непременно, – поспешила я ответить, – для тебя и для Крошки: тебе я завещаю мой завтрашний обед, а Крошке – все мои старые тетради, чтобы она продала их и купила себе на вырученные деньги какой-нибудь талисман от злости.

Девочки фыркнули. Маркова и Иванова презрительно улыгнулись, и разговор перешел на другую тему.

По возвращении в класс из столовой Люда робко подошла ко мне и тихо прошептала:

– Ниночка, если не ради меня, то ради Ирочки не ходи на паперть.

– Вздор, – отвечала я, – вот ради Ирочки-то я и пойду туда. Ведь я ничего еще не сделала, чтобы доказать ей, что я ничего не боюсь, и заслужить ее любовь. Ну, вот пусть это и будет моим подвигом во имя ее. И ты не мешай мне, пожалуйста, Люда!

Наступил вечер. Нас отвели в дортуар и до спуска газа предоставили самим себе. Девочки, очевидно, забывшие о моем решении идти на паперть, разбившись на группы, разговаривали между собой. Только маленькая Люда ежеминутно устремляла на меня свои вопрошающие глазки.

Лишь только дежурная Fraulein Генинг скрылась за дверью, я быстро вскочила и начала одеваться.

– Куда? – испуганно шепнула приподнявшаяся на локте Люда.

Я не ответила, сделав вид, что не слышала ее слов, и бесшумно выскользнула из дортуара.

Длинный полуосвещенный коридор, тянувшийся вплоть до церковной паперти, невольно пугал одним своим безмолвием. Только неопределенный, едва уловимый шум газа нарушал его могильную тишину. Робко скользила я вдоль стены по направлению к церкви.

Вот уже темная церковная площадка, словно сияющая черная пропасть, неприятно выглянула на меня сквозь стеклянные двери.

«Точно глаза чудовища», – подсказало мне мое встревоженное воображение, когда при свете тускло горевших газовых рожков я увидела выступившие светлыми полосками дверные стекла.

Однако я храбро взялась за ручку. Тяжелая дверь

растворилась с легким скрипом. На паперти было совсем темно. Ощупью отыскала я скамейку, на которой в дни церковной службы отдыхали воспитанницы, и села. Прямо против меня были церковные двери, направо – коридор младшей половины, налево – старшей. Отдаленные газовые рожки чуть мерцали, роняя слабый свет на двери, но вся площадка и широкая лестница тонули во мраке.

«Ну, где же лунатик, – храбрилась я, оглядываясь во все стороны, – все это одна выдумка глупых девочек...»

Я не досказала и вздрогнула... Раздался глухой и тяжелый звук... Один... второй... третий. Это пробило двенадцать на нижней площадке... И снова тишина – жуткая... страшная...

Мне стало холодно... Я уже поднялась и направилась было к коридорной двери обратно, как вдруг случайно оглянулась и... ужас сковал мои члены... Прямо на меня надвигалась высокая белая фигура. Тихо, медленно ступала она по паперти... Вот она ближе, ближе... Холодный пот выступил у меня на лбу... ноги подкашивались, но я сделала невероятное усилие и бросилась вперед, протягивая руки к белой фигуре.

В тот же миг три раздирающие душу крика огласили своды мирно спавшего института... Кричал белый лунатик, кричал кто-то еще, спрятавшийся в углу за

стеклянной дверью, кричала я, зараженная ужасом.

Не помня себя, я бросилась назад по коридору, пулей влетела в дортуар, сильно хлопнув дверью, и, бросившись с постель, зарылась в подушки.

Поднялся плач, суматоха... Осветили дортуар, прибежали девушки, спавшие в умывальной.

Захлебываясь от волнения, я посылала их на паперть – спасти от лунатика его жертву.

Fraulein Генинг, ничего не понимавшая из того, что случилось, помчалась со свечой на паперть в сопровождении служанок. Через несколько минут они вернулись, неся на руках бесчувственную Люду; с ними была еще третья девушка в длинном белом «собственном» платье. Она приехала в этот вечер из гостей и пробиралась на ночлег в то время, когда я дежурила на паперти. Я была уничтожена... Девушка в белом и оказалась тем страшным лунатиком, который так испугал меня. Мне было обидно, совестно, неловко...

На вопросы доброй Кис-Кис я не могла не отвечать правды. А правда была так смешна и нелепа, что я едва собралась с духом рассказать ей.

Я злилась... Злилась больше всего на Люду, сделавшую мое положение таким смешным и некрасивым.

И кто ее просил идти за мною, прятаться за две-



рью, защищать меня от несуществующих призраков? Зачем? зачем?

Взволнованная, пристыженная, я быстро разделась и легла в постель. Сквозь полузакрытые веки я видела, как привели в чувство до смерти напуганную Люду, видела, как ее уложили в кровать и как, по уходе фрейлен, бледная, измученная, она приподнялась немного и тихо шепнула:

– Ты спишь, Нина?

Но я молчала... Маленький злой бесенок, засевавший во мне, не давал мне покоя. Я злилась на всех, на класс, на ни в чем не повинную девушку, на себя, на Люду.

Долгий сон не успокоил меня.

– Ага, струсила! – услышала я первое слово разбудившей меня насмешливым смехом Мани Ивановой.

– Принцесса Горийская испугалась дортуарной девушки! – вторила ей Крошка.

Защищаться я не пожелала и только метнула в сторону Люды злыми глазами.

«Вот что ты наделала, – красноречиво докладывал мой рассерженный взгляд – в какое милое положение поставила меня! Всеми этими неприятностями я обязана только тебе одной!»

Она посмотрела на меня полными слез глазами, но на этот раз ее затуманенный печальный взгляд не

разжалобил, а окончательно вывел меня из себя.

– Ах, не хнычь, пожалуйста! Напортит, а потом реветь! – крикнула я и вышла из дортуара, сильно хлопнув дверью.

Она, однако, еще раз попыталась подойти ко мне в коридоре. Но и тут я вторично оттолкнула бедняжку.

Грустно, опустив кудрявую головку, поплелась она в спальню, а я еще долго дулась, стоя у окна в коридоре. Даже Ирочка, подошедшая ко мне (она дежурила за больную классную даму в дортуаре пятых), не уладила водворившегося в мою душу беса.

– Что это, Нина, с вами? Вы как будто расстроенны? – спросила она обычным ей покровительственным тоном.

– Оставьте меня, все оставьте! – капризно твердила я, кусая губы и избегая ее взгляда.

– В самом деле, вас следует оставить, Нина: вы становитесь ужасно несносной, – строго произнесла Ирэн, очевидно, обиженная моим резким ответом.

– Ну, и слава Богу, – совсем уже нелепо, по-детски пробормотала я и, передернув плечами, побежала в спальню, желая спрятаться и остаться наедине с моим маленьким горем.

Каково же было мое изумление и негодование, когда я увидела мою Люду, моего единственного первого друга, между Маней Ивановой и торжествующей

Крошкой – моими злейшими врагами!.. Я сразу поняла, что они воспользовались нашей ссорой с Людой, чтобы, назло мне, привлечь ее к себе и сделать ее подружкой, товаркою. Их я поняла, но Люда, Люда, как она согласилась подружиться с ними?.. Неужели она не догадалась, сколько обиды и горечи нанесла этим поступком моему и без того измученному сердцу? А я так любила ее!..

Я была возмущена до глубины души, возмущена и против Ивановой, и против Марковой, и против Власовской – против всех, всех. Я не помню, что я крикнула им, но, вероятно, что-нибудь обидное, потому что Власовская испуганно заморгала своими вишневыми глазами, а ангельское личико Марковой исказилось злой гримаской.

Месть Крошки удалась на славу! Отняв от меня моего друга, она лишала меня последнего солнечного луча, последней радости в холодных, негостеприимных институтских стенах.

## Глава VIII

### Из-за вороны друзья на всю жизнь

Потянулись ужасные дни... Назло Люде я подружилась с Бельской. Наши шалости превосходили все прежние. Бельская была хитра на выдумки и изворотлива, как кошка. Мы бегали, беснуясь, по всему институту, кричали до хрипоты в часы рекреации, не боясь начальства, гуляли на половине старших. Растрепанные, хохочущие, крикливые, мы обращали на себя всеобщее внимание... Классные дамы удивлялись резкой перемене в моем характере, но не бранили меня и не взыскивали. Я была общей любимицей, да к тому же многое приписывалось моим нервам и острым проявлениям тоски по родине.

– Что с вами, Нина, – удивлялась Ирочка, глядя, как я, вся красная от беготни, неслась к ним на половину, вопреки запрещению синявок.<sup>46</sup> – Я не узнаю вас больше!

– Я веселюсь, фея Ирэн, – смеялась я, – разве бедным маленьким седьмушкам запрещено веселиться? Если б она знала, как я была далека от истины! На

---

<sup>46</sup> «Синявками» воспитанницы института называли классных дам, потому что они носили синее форменное платье. (Примеч. сост.)

глазах класса, в присутствии ненавистной Крошки, ее оруженосца Мани и еще недавно мне милой, а теперь чужой и далекой Люды, я была настоящим сорвиголовою. Зато, когда дортуар погружался в сон и все утихло под сводами института, я долго лежала с открытыми глазами и перебирала в мыслях всю мою коротенькую, но богатую событиями жизнь... И я зарывалась в подушки головою, чтобы никто не слышал задушенных стонов тоски и горя.

– Папа! – часто шептала я среди ночного безмолвия. – Милый, хороший, дорогой папа, возьми меня отсюда... Увези меня отсюда! я теперь одна, еще больше одна, чем была раньше. Была Люда – нет Люды. И снова темно, мрачно и холодно в институтских стенах...

А Люда спала сном праведницы тут же рядом со мною, но, безусловно, чужая для меня и близкая Ивановой и Крошке, которых я презирала всеми силами души...

Наутро я встала с новым запасом шалостей в голове и с гордостью проходила мимо ненавистной «тройки», дружески обняв Бельскую.

Первый снег в этом году выпал в начале ноября... Я точно обезумела... Всю большую перемену мы взапуски гонялись с Бельской по последней аллее, куда младшим было строго запрещено ходить.

В один на редкость выпавший полуосенний, полужимний морозный денек, во время прогулки, мы были привлечены жалобным карканьем большой черной вороны.

Ворона была противная, злющая, но ей перебили крыло и лапку, и этого было достаточно, чтобы разжалобить сердца сердобольных девочек.

– Джаваха! – крикнула Бельская, – давай поймаем ворону, накормим и вылечим ее.

Сказано – сделано. Не привыкшая останавливаться перед раз задуманным решением, я храбро полезла в рыхлый снег и протянула руку за вороной. Но глупая птица не понимала, казалось, моих добрых намерений. Прихрамывая, она заковыляла от нас по всей аллее, точно мы были ее злейшие враги.

– Держи, Белка, забеги слева, – отдавала я краткие приказания моему адъютанту, как Крошка прозвала в насмешку мою новую подругу.

– Берегись, Нина, синявка идет.

– Э, пустое! – лихо крикнула я. К общему удовольствию собравшихся вокруг нас зрительниц, ворона была поймана и закутана в казенную шаль. С величайшими предосторожностями мы понесли ее в класс.

– Кого хороните? – насмешливо крикнули нам наши всегдашние враги шестушки при виде оригинального

Шествия.

– Закрой ее, закрой, – шептала Бельская, – а то они насплетничают инспектрисе...

До класса нашу новую protege мы донесли благополучно, усадили или, вернее, втиснули ее в корзину и, увязав веревками поверх оберточной бумаги, поставили в угол за географическую карту.

Следующий класс был батюшки. Уже в начале урока по партам путешествовала записочка с вопросом; как назвать ворону? Внизу уже стояла целая шеренга имен вроде: Душки, Cadeau, Orpheline, Смолянки и Amie, когда, осененная внезапной мыслью, я подмахнула под выше написанными именами «Крошка» и, торжествуя, перебросила записку Краснушке.

Едва последняя успела развернуть бумажку, как из-за угла послышалось отчаянное и продолжительное карканье... Мы замерли от страха... M-lle Арно бросилась в угол, но не успела заглянуть туда, как ворона внезапно вылетела из-за карты и стала носиться с отчаянным карканьем по всему классу. Вышло что-то невообразимо скверное.

Арно гонялась за вороной, мы за Арно, невероятно шумя и толкаясь, а батюшка, потеряв нить рассказа о трогательных страданиях благочестивого Иова, смотрел с печальной улыбкой на всю эту суматоху.

Неожиданный звонок дал новое направление собы-

тию. Пугач, грозно потрясая седыми буклями, бросилась к инспектрисе – докладывать о преступлении. Лишь только смущенный не меньше нас батюшка вышел из класса, поднялся спор, шум, крики...

Решили следующее:

1) Меня не выдавать ни под каким видом.

2) Ворону, унесенную классной девушкой Феней, продолжать кормить и воспитывать в саду.

3) Просить прощения у батюшки за нарушение порядка в его классе.

Едва девочки успели обсудить и одобрить предложенные Бельской пункты, как в класс вошла инспектриса. Очень высокая, очень сердитая и очень болезненная, она не умела ни прощать, ни миловать. Это была как бы старшая сестра нашего Пугача, но еще более строптивая и желчная.

На ее строгий вопрос, кто принес птицу, – мы отвечали дружным молчанием.

Новый вопрос – новое молчание. Пугач стояла тут же и злорадно шипела:

– Очень хорошо... прекрасно... бесподобно...

Ничего не добившись, инспектриса ушла, бросив нам на прощание злое и многозначительное: «eh bien, nous verrons».<sup>47</sup> Это злое «nous verrons» не предвещало ничего хорошего, и хмурые, понуренные

---

<sup>47</sup> Eh bien, nous verrons – ну, что ж, посмотрим (*фр.*).



пошли мы завтракать в столовую.

– Что-то будет? Что-то будет? – в тоске шептали более робкие из нас.

– Крошка насплетничает, вот что будет! – сердито крикнула я и вдруг чуть не вскрикнула от изумления. В столовую вошла Люда... но не прежняя тихонькая, робкая Люда, а красная, как пион, с разгоревшимися глазами и гордо-вызывающе поднятой головой. Но что показалось мне удивительнее всего – Люда была без передника. Она не прошла на свое место за столом, а встала на середине столовой, как наказанная.

– Что такое с Власовской? Чем она провинилась? – заволновались институтки, и наши, и чужеклассницы.

– Надо Крошку спросить или Иванову – ведь они подруги, – без всякого заднего умысла произнесла Валя Лер, обращаясь ко мне.

– Ну, и спрашивай, мне что за дело, – вспыхнула я. А Люда все стояла на своем посту, нимало не стесняясь, на глазах всего института.

Одну минуту мне показалось, что ее черные глазки встретились с моими, но только на одну минуту, и тотчас же я отвела свои...

«Что с нею, – мучительно стонало внутри меня, – за что она может быть наказана – эта маленькая, безобидная кроткая девочка?»

Вдруг в столовой произошло легкое смятение.

– М-lle Арно! – крикнули с соседнего стола сидевшей за нашим столом классной даме, – Власовской дурно...

Ей в самом деле было дурно. Она побелела, как платок, и пошатнулась. Не подоспей м-lle Арно, Люда, кажется, не выдержала бы и упала.

Пугач подхватила ее и, придерживая своими длинными, цепкими руками, повлекла в лазарет.

Кругом кричали, спорили, шептались, но я ничего не слышала... Моя голова горела от навязчивой мысли, бросавшей меня то в жар, то в холод: «Что с Людой, что с моей бедной, маленькой Галочкой?»

Я совершенно забыла в эту минуту, что она уже давно отказала мне в своей дружбе, предпочтя мне ненавистную Крошку, но сердце мое ныло и сжималось от неизвестности и еще какого-то тяжелого предчувствия.

И не напрасно... потому что это предчувствие сбылось...

Едва мы поднялись в класс, как вошла Пугач и, торжественно усевшись на кафедре, начала речь о том, как нехорошо нарушать общее спокойствие и подводить под наказание подруг.

– Вот Власовская не хотела сознаться, что принесла ворону в класс, – разглагольствовала синявка, – а пришлось, однако, открыть истину, совесть заговори-

ла: она пошла к инспектрисе и созналась... она...

– Что?! – вырвалось у меня, и я в три прыжка очутилась у кафедры.

– *Cher enfant*,<sup>48</sup> – и Арно неодобрительно покачала головой. – *Soyez prudente*<sup>49</sup>... У вас слишком резкие манеры...

О! это было уже свыше моих сил!.. Она могла рассуждать еще о манерах, когда сердце мое рвалось на части от горя и жалости к моей ненаглядной голубке Люде, таким великодушием отплатившей мне за мой поступок с нею.

Так вот она какова, эта милая, тихая девочка! И я смела еще смеяться над нею... презирать это маленькое золотое сердечко!

– Что с вами, *cher enfant*? – видя, как я поминутно меняюсь в лице, спросила синявка, – или вы тоже нездоровы?

– О, нет... – с невольной злобой на саму себя сказала я. – Я здорова... Больна только бедная Люда... Я, к сожалению, здорова... да, да, к сожалению, – подчеркнула я с невольным отчаянием в голосе. – Я злая, скверная, гадкая, потому что это я принесла в класс ворону, а не Власовская. Да, да... я одна... одна во всем виновата.

---

<sup>48</sup> *Cher enfant* – дорогое дитя (фр.).

<sup>49</sup> *Soyez prudente* – будьте благоразумной (фр.).

Я смутно помню, что говорила классная дама и инспектриса, опять пожаловавшая в класс по новому приглашению Пугача, но отлично помню ту безумную радость, дошедшую до восторга, когда, по приказанию ее, Арно стерла с красной доски мою фамилию и потребовала, чтобы я сняла передник.

С тою же радостью стояла я, наказанная, за обедом на месте Люды, и сердце мое прыгало и замирало в груди.

«Это искупление, – твердило оно, – это искупление, Нина, подчинись ему!»

И как охотно, как радостно прислушивалась я к моему маленькому восторженному сердцу!

– Белка, давай мне скорей твой перочинный ножик, – огорошила я моего адъютанта, лишь только мы поднялись в класс. – Давай!

И прежде чем она могла понять в чем дело, я схватила лезвие перочинного ножика так быстро и сильно двумя пальцами, что глубоко порезала их.

– Ай, кровь, кровь! – запищала Бельская, не любившая подобных ужасов.

– Да, кровь, – засмеялась я, – кровь, глупенькая... Это я нарочно... Она поможет мне пройти к Люде в лазарет... понимаешь?

Но Белка стояла передо мной с открытым ртом, хлопала глазами и ничего не понимала. И только

когда продребезжал лазаретный звонок, сзывавший больных на перевязку, и я заявила, что бегу забинтовать руку, Бельская неожиданно бросилась ко мне на шею, заорав восторженно на весь класс:

– Нинка Джаваха... ты – героиня!..

Осторожно крадучись, я проскользнула из перевязочной в лазаретную столовую, а оттуда – в общую палату, где, по моим расчетам, находилась Люда.

Я не ошиблась.

Она спала, забавно свернувшись калачиком на одной из кроватей. Я осторожно на цыпочках подошла к ней. На ее милом личике были следы слез... Слипшился ресницы бросали легкую тень на полные щеки... Алые губы шептали что-то быстро и непонятно-тихо...

Острая, мучительная жалость и беззаветная любовь наполнили мое сердце при виде так незаслуженно обиженной мною подруги.

Я быстро наклонилась к ней.

– Люда... Людочка... сердце мое... радость!

Она открыла сонные глазки... и взглянула на меня, ничего не понимая.

– Это я, Людочка... – робко произнесла я.

– Нина! – вырвалось из ее груди. – Ты пришла...

Мы упали в объятия друг друга... Плача и смеясь, перебивая одна другую и снова смеясь и плача, мы болтали без умолку, торопясь высказать все, что нас

угнетало, мучило, томило. Теперь только поняли мы обе, что не можем жить друг без друга...

Люда выросла в моих глазах... стала достойной удивления... Я не могла ей не высказать этого.

– Ну, вот еще! – засмеялась она, – тебе все это кажется... ты преувеличиваешь, потому что очень меня любишь.

Да, я любила ее, ужасно любила... Моя маленькая, одинокая душа томилась в ожидании друга, настоящего, искреннего... И он явился ко мне – не мечтательной, смеющейся лунной феей, а доброй сестрой и верным товарищем на долгие институтские годы... Мы крепко прижались друг к другу, счастливые нашей дружбой и примирением...

Вечерние сумерки сгущались, делая лазаретную палату как-то уютнее и милее... Отдаленные голоса пришедших на перевязку девочек едва долетали до нас... Я и Люда сидели тихо, молча... Все было пересказано, переговорено между нами... но наше молчаливое счастье было так велико, что тихое, глубокое молчание выражало его лучше всяких слов, пустых и ненужных...